

БРЭНДОН КАРТЕР

Истина тонет
в чужих голосах.

ПУСТОЕ НЕБО

ПРОФИЛЬ МАСКИ

КОГДА ПРАВДА СТАНОВИТСЯ УГРОЗОЙ, МОЛЧАНИЕ — СООБЩНИК.

Пустое небо: Профиль маски

Брэндон Картер

Настоящее произведение является художественным. Все персонажи, события, организации и описанные обстоятельства либо полностью вымышлены, либо представлены в авторской художественной интерпретации. Любые совпадения с реальными людьми — живыми или умершими, а также с существующими или существовавшими организациями, компаниями и событиями являются случайными и не имеют намеренного характера.

Оглавление

- Глава 1. Эхо чужого голоса
- Глава 2. Силуэт на сером фоне
- Глава 3. Диссоциация и пруды
- Глава 4. Белые халаты и власть над дыханием
- Глава 5. Американский инкубатор
- Глава 6. Смерть наставников
- Глава 7. Возвращение инквизитора
- Глава 8. Индустрия стигмы
- Глава 9. Экспорт страха
- Глава 10. Пустое небо
- Глава 11. Профиль против системы

Глава 1. Эхо чужого голоса

Свет настольной лампы выхватывал из темноты кабинета лишь узкий круг: чашку с давно остывшим чаем, раскрытый блокнот и стопку листов формата А4, скрепленных тугой металлической скобой. За окном, в сырой московской полутьме, шумел бесконечный февральский дождь, превращающий грязный снег на подоконнике в серую кашу.

Павел потер воспаленные глаза. Тридцать лет своей профессиональной жизни он отдал практической психиатрии. Он умел слушать. Он умел вычленять скрытые мотивы за фасадом бессвязного бреда, распознавать едва заметные маркеры шизофренического расщепления и отличать глубокую клиническую депрессию от временной ситуативной реакции. Но сейчас, глядя на лежащий перед ним документ, он чувствовал себя беспомощным первокурсником, столкнувшимся с неизвестной, агрессивной патологией.

Документ назывался «Комплексное экспертное заключение № 14/02-Э от 12 февраля 2026 года». На тридцати двух страницах плотного текста три неназванных эксперта с учеными степенями анализировали деятельность студенческого экологического объединения «Зеленый щит» и, в частности, научную публикацию его сына, Ильи.

Павел перевернул страницу, вчитываясь в абзацы, которые за последние три дня успел выучить наизусть.

«...В представленном на исследование материале — статье И. П. Шевелева “Микропластик в пойменных ландшафтах бассейна Верхней Волги: аккумуляция и экологические риски”, опубликованной в студенческом вестнике “Экология и молодежь” (Выпуск 4, 2025 г.) — усматриваются признаки латентного манипулятивного воздействия на целевую аудиторию. Использование специфической терминологии (“деградация биоценоза”, “антропогенный коллапс”) в сочетании с упоминанием зарубежного финансирования (грант шведско-финского фонда “Baltic Green Initiative” в размере 4500 евро на закупку лабораторных фильтров) служит целям формирования у читателя чувства экзистенциальной тревоги и недоверия к государственным институтам контроля. Данная риторика маскирует деструктивную деятельность, направленную на

вовлечение учащейся молодежи в псевдоэкологический культ с признаками идеологической зависимости...»

Павел откинулся на спинку кресла. Как врач, он испытывал глубокое профессиональное отвращение к этому тексту. Это была не наука. В тексте отсутствовали верифицируемые методики, не было ни одной ссылки на признанные психиатрические или социологические исследования. Вместо этого использовался вязкий, тяжелый язык, напоминающий средневековые трактаты о ведовстве, но наспех адаптированный под современный юридический канцелярит.

Но больше всего Павла тревожило другое. Как клиницист, он обладал обостренным слухом на чужую речевую динамику. Читая эти строки, он ловил себя на стойком ощущении дежавю. Этот текст не просто обвинял его сына в абсурдных вещах. Он дышал совершенно определенным психологическим почерком. В нем сквозила специфическая агрессия, скрытая за маской добродетели.

Павел встал, подошел к книжному шкафу и после недолгих поисков вытащил с верхней полки толстый том в сером переплете. Это было издание «Сектоведения» Александра Дворкина начала двухтысячных годов — книга, которую Павел когда-то купил из чисто профессионального любопытства, чтобы понять феномен зарождающейся в стране антикультовой риторики.

Он положил обе книги рядом на стол и начал сравнивать.

Сходство было не в прямом копировании фраз, а в самой структуре мышления. Это был тот же метод «обвинения по ассоциации», который когда-то детально описал социолог Марат Штерин в своем анализе антикультовых текстов. Павел быстро нашел нужную информацию на просторах интернета:

«Основное допущение в статье Дворкина — что все новые религиозные движения (НРД) обладают одинаковыми характеристиками и все они могут быть названы “тоталитарными сектами” и “деструктивными культами”. Этого якобы достаточно — привести несколько примеров отдельных групп, чтобы обосновать общий вывод об угрозе, исходящей от всех НРД. Более того, эти действия описываются как антисоциальные просто потому, что они связаны с “сектами”. Метод “обвинения по ассоциации” широко используется в статье. Следуя этой логике, автор неизбежно попадает в замкнутый круг: секты опасны, потому что они совершают опасные действия; а их действия опасны, потому что они секты...»

Павел провел пальцем по строчкам экспертизы против Ильи. Картина была аналогичная. Экологическая группа объявлялась «деструктивным культом» просто потому, что она получила грант. А грант объявлялся «инструментом подрыва безопасности» просто потому, что его получила эта группа. Это была безупречная, герметичная система бреда, которую невозможно было опровергнуть рациональными аргументами, потому что она сама себя верифицировала.

«Он создал этот язык, — тихо произнес Павел в пустоту комнаты. — Тридцать лет назад он привез эти лекала, а теперь по ним режут живых людей».

Из глубины квартиры донесся тихий, прерывистый вздох. Павел приоткрыл дверь в комнату сына.

Илья лежал на кровати прямо в одежде, отвернувшись к стене. Его плечи были напряжены. В свои двадцать два года он выглядел сейчас как испуганный подросток. Вся его жизнь — аккуратная, тихая жизнь отличника, увлеченного химическим анализом почв и мечтавшего о чистых реках, — была разрушена за одну неделю.

Все началось с короткого сюжета на региональном телевидении, где холеный эксперт из структуры, близкой к центру Дворкина, рассуждал о «зеленом экстремизме» и «климатическом психозе», якобы координируемом из-за рубежа. В качестве примера на экране на несколько секунд появилось фото Ильи с той самой международной онлайн-конференции, где он делал доклад о микропластике.

И этого оказалось достаточно.

Не было ни повесток, ни обысков. Система действовала тоньше, используя методы социальной изоляции. Сначала его телефон замолчал: друзья из университета один за другим вышли из общих чатов, а староста группы вежливо попросил «не подставлять ребят» и не приходить на практические занятия. Затем ему заблокировали банковскую карту — «в рамках профилактики финансирования нежелательных организаций». Илья сломался быстро. Он перестал выходить на улицу, удалил все аккаунты в социальных сетях и теперь проводил дни в полусне, вздрагивая от каждого шороха за дверью.

Павел закрыл дверь в спальню сына и сжал кулаки. Как врач, он понимал: если сейчас не вмешаться, у Ильи начнется глубокая реактивная депрессия с риском необратимых личностных изменений. Нужно было действовать. И начать

следовало с того места, где эта травля получила официальную санкцию — с университета.

Утро встретило Павла тяжелым свинцовым небом. Здание факультета экологии и почвоведения встретило его привычным гулом молодежи. Студенты пробегали мимо, смеясь и переговариваясь, и эта обычная, мирная суeta казалась Павлу нереальной, словно он находился внутри чужого сна.

Кабинет декана, профессора Валерия Семеновича Воробьева, располагался на третьем этаже. Павел знал Воробьева больше десяти лет — они периодически пересекались на междисциплинарных семинарах по экологической психологии. Воробьев всегда казался Павлу человеком старой академической закалки: ироничным, глубоким и принципиальным.

Когда Павел вошел, декан сидел за массивным дубовым столом, просматривая какие-то ведомости. Увидев гостя, он на мгновение замер, и на его лице промелькнуло выражение, которое Павел, как психиатр, зафиксировал мгновенно — смесь острой неловкости, страха и глухого раздражения.

— А, Павел Петрович... — Воробьев поднялся навстречу, но руку протянул как-то нерешительно, словно боялся испачкаться. — Проходи, садись. Чай, кофе?

— Спасибо, Валерий Семенович, я ненадолго, — Павел сел на жесткий стул для посетителей. — Я по поводу Ильи.

Воробьев тяжело вздохнул, аккуратно закрыл папку с ведомостями и сложил руки на столе. Его пальцы слегка подрагивали.

— Павел, ты же понимаешь... — начал он тихим, глухим голосом, избегая смотреть Павлу в глаза. — Ситуация крайне неприятная. Крайне. Мы все ценим Илью, он способный мальчик, у него были отличные перспективы. Но то, что произошло... эта публикация, этот грант...

— Валерий Семенович, — мягко перебил его Павел. — Вы же ученый. Вы прекрасно знаете, что грант «Baltic Green Initiative» — это открытый научный конкурс. Деньги пошли на покупку спектрометра и фильтров для нашей же университетской лаборатории. Илья не занимался политикой. Он исследовал содержание полимеров в донных отложениях.

— Сейчас это не имеет значения, — Воробьев наконец поднял глаза, и Павел увидел в них глубокую, затравленную тоску немолодого человека, вынужденного совершать подлость. — Пришло письмо. Из министерства. К нему приложено то

самое экспертное заключение. Там черным по белому написано: «выявлены признаки деструктивного влияния». Ты понимаешь, что это значит для вуза? У нас аккредитация через три месяца. Если мы сейчас не примем меры, факультет просто закроют. Нам настоятельно рекомендовали... в целях профилактики экстремистской деятельности... расторгнуть с ним контракт лаборанта-исследователя. И предложить ему забрать документы по собственному желанию.

— Профилактика экстремизма? — Павел почувствовал, как к горлу подступает горячая волна гнева, но заставил себя говорить спокойно и взвешенно. — На основании чего? На основании тридцати страниц псевдонаучного бреда, написанного людьми, которые путают экологию с оккультизмом? Вы читали эту экспертизу, Валерий Семенович?

Воробьев поморщился, словно от зубной боли. Он встал, подошел к окну, за которым продолжал лить дождь, и заговорил, не поворачиваясь:

— Павел, не будь ребенком. Какая разница, что там написано? Важна не научная ценность бумаги, а печать на ней. За этой экспертизой стоят люди, с которыми никто в здравом уме не станет связываться. Они могут объявить сектой любое объединение — от кружка любителей кактусов до кафедры теоретической физики. Ты хочешь, чтобы я из-за одного студента подставил под удар весь факультет? У меня восемьдесят человек сотрудников. У них семьи, ипотеки.

— И поэтому вы решили принести в жертву моего сына? — тихо спросил Павел.

Воробьев промолчал. Его спина в сером пиджаке казалась сутулой и старой. В этом молчании Павелу открылась страшная истина. Перед ним стоял не злодей, не фанатик и не садист. Воробьев был умным, образованным человеком, который прекрасно понимал абсурдность обвинений. Но социальное давление, этот невидимый, разлитый в воздухе страх, заставлял его становиться соучастником травли без всякого физического принуждения. Ему не угрожали пистолетом. Ему просто показали бумагу со специфическими формулировками, и он сам, добровольно, сделал все, что от него требовалось.

Это была индустрия страха, работающая без сбоев.

— Я понял вас, Валерий Семенович, — Павел поднялся со стула. — Извините, что отнял время.

— Павел, подожди, — Воробьев обернулся, в его голосе послышалась заискивающая нотка. — Ты не думай... мы все сочувствуем. Пусть Илья переждет. Год-два. Все уляжется. Время сейчас такое... нужно просто перетерпеть.

Павел не стал отвечать. Он вышел из кабинета, аккуратно прикрыв за собой дверь.

Он шел по коридорам университета, и ему казалось, что он идет по больничному отделению для безнадежно больных. Люди, встречавшиеся ему на пути — преподаватели, которых он знал годами, — при его приближении вдруг вспоминали о срочных делах, утыкались в телефоны или сворачивали в боковые коридоры. Страх распространялся как невидимый газ, парализуя волю и вымывая из людей остатки человечности.

Выйдя на улицу, Павел глубоко вдохнул холодный, влажный воздух. Дождь почти прекратился, но небо оставалось ровным, серым и тяжелым.

Он сел в машину, но не стал заводить двигатель. На пассажирском сиденье лежала папка с экспертизой. Павел снова открыл ее, глядя на подписи в конце документа.

«...Эксперт-религиовед, кандидат философских наук...»

Павел знал, что эти люди — лишь исполнители. Они штампуют эти заключения десятками, используя готовые шаблоны, разработанные в недрах организации Дворкина. Но сам метод, этот уникальный способ уничтожения человека через лишение его права на защиту, через стигматизацию и превращение в «чужого» — уходил корнями гораздо глубже.

Павел вспомнил слова известного исследователя русской народной религиозности Александра Панченко, которые он читал в одном из обзоров:

«...раз уж речь зашла об НРД и современной религиозной ситуации в России, не могу не выразить своего возмущения тем, что Экспертный совет по государственной религиоведческой экспертизе при Министерстве юстиции возглавил одиозный активист антисектантского движения Александр Дворкин, подлежащий, с моей точки зрения, судебному преследованию за разжигание религиозной розни».

«Он возглавил этот совет, не имея даже профильного образования, — думал Павел, глядя на серые капли, медленно сползающие по лобовому стеклу. — Он создал систему, в которой любой несогласный автоматически объявляется врагом.

Но почему? Что движет человеком, который тратит десятилетия на создание этой машины уничтожения?»

Как психиатр, Павел знал: у любого сложного поведенческого паттерна есть своя точка сборки. Своя первичная травма, свой первый опыт доминирования, свой первый шаг в сторону от человеческой нормы. Психопаты такого уровня не рождаются готовыми инквизиторами. Они долго и методично выстраивают свою социальную маску, сублимируя внутренние девиации в общественно одобряемую деятельность.

Павел завел мотор. Он понял, что просто защищать сына в суде или писать жалобы в прокуратуру бесполезно. Система, созданная Дворкиным, легко переварит любые юридические протесты, потому что она сама пишет правила этой игры. Единственный способ спасти Илью — это разрушить саму легитимность этой системы. А для этого нужно было понять ее создателя.

Нужно было составить его полный психологический профиль. Найти ту скрытую трещину в его биографии, тот первый эпизод насилия, который определил всю его дальнейшую жизнь.

Павел включил передачу и выехал на мокрый проспект. В его голове уже складывался план. Он должен был вернуться к самому началу. К московскому детству Саши Дворкина, к его школьным годам, к тем серым дворам семидесятых, где будущий инквизитор впервые почувствовал вкус чужого страха и понял, что небо над его головой — абсолютно пустое.

Глава 2. Силуэт на сером фоне

Дождь хлестал по лобовому стеклу старой «Вольво», превращая огни Стромынки в размытые, дрожащие полосы. Павел выключил зажигание, но не спешил выходить из машины. Дворники сделали последний ленивый взмах и замерли, оставив перед глазами искаженную, серую перспективу московского района Сокольники. Именно здесь, среди этих кирпичных пятиэтажек и глухих дворов, полвека назад начиналась история, которая теперь, словно невидимая петля, затягивалась на шее его сына.

Павел приехал сюда не из праздного любопытства. Как клинический психиатр с тридцатилетним стажем, он знал: любой поведенческий паттерн, даже самый чудовищный и изощренный, имеет свою точку сборки. Чтобы понять, как работает система символического насилия, уничтожающая сейчас Илью, нужно было изучить личность ее создателя в самом начале ее формирования. Ретроспективный поведенческий анализ требовал фактов, а не домыслов. И Павел решил собирать эти факты лично, шаг за шагом, превращая пассивное чтение документов в активное расследование.

Он поправил воротник пальто, взял с пассажирского сиденья кожаный портфель и вышел под холодный февральский дождь. Его путь лежал к одному из старых жилых домов, где, согласно архивным адресным книгам, когда-то проживала семья Дворкиных.

Через своего старого университетского друга Михаила, работавшего в городском архиве, Павлу удалось получить доступ к копиям личных дел и школьных характеристик Александра Дворкина. Но сухие строчки на пожелтевшей бумаге требовали живого контекста. Именно поэтому Павел шел сейчас на встречу с Еленой Борисовной — женщиной, которая работала завучем по воспитательной работе в школе № 367 и до сих пор жила в том же районе.

Подъезд встретил Павла запахом сырости и тусклым светом одинокой лампочки под потолком. Он поднялся на третий этаж и нажал на кнопку звонка. Дверь открылась не сразу. На пороге появилась миниатюрная пожилая женщина в шерстяной кофте, с аккуратно уложенными седыми волосами. Ее глаза за стеклами очков смотрели настороженно, но спокойно.

— Елена Борисовна? Здравствуйте. Я Павел Петрович, мы созванивались вчера.

Женщина внимательно вгляделась в его лицо, словно оценивая степень угрозы, а затем отступила в сторону, освобождая проход.

— Проходите, доктор. Раздевайтесь. Чай только что заварился.

Квартира Елены Борисовны казалась застывшим слепком советской эпохи: тяжелые книжные шкафы, забитые классикой, круглый стол под кружевной скатертью, запах лаванды и старой бумаги. Они сели у окна, за которым шумел дождь.

— Вы спрашивали о Саше Дворкине, — тихо начала Елена Борисовна, разливая чай по чашкам. Ее голос, несмотря на возраст, сохранил профессиональную учительскую четкость. — Знаете, за мою сорокалетнюю практику через меня прошли тысячи детей. Многих я забыла. Но эту семью... эту семью забыть трудно. Там все было очень непросто, Павел Петрович. Очень тяжело.

Павел достал из портфеля блокнот и положил его на стол, но ручку пока не трогал. Ему важно было установить доверительный контакт, дать собеседнице выговориться.

— Расскажите о его матери, — мягко попросил он. — Брониславе Зиновьевне.

Елена Борисовна вздохнула, глядя на пар, поднимающийся от чашки.

— Бронислава Зиновьевна Букчина была женщиной выдающегося ума, кандидат филологических наук, работала в Институте русского языка Академии наук. Но в ней чувствовался какой-то внутренний холод, понимаете? Словно она была сделана из камня. Мы, учителя, ее откровенно побаивались. Она требовала от Саши абсолютного, безупречного совершенства. Никаких поблажек, никаких слабостей. Но за этой жесткостью скрывался глубокий, почти панический страх перед жизнью. Позже я узнала о ее судьбе. Во время войны она, будучи совсем молодой девушкой, попала в гетто в Белоруссии. Ее родственников расстреляли у нее на глазах. В нее саму стреляли, она упала в ров с телами, чудом выжила, выбралась ночью. Ее три года прятала местная украинская семья. Представляете, какой след это оставило в ее психике?

Павел кивнул. Как психиатр, он мгновенно выстроил клиническую картину. Тяжелейшее посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), не компенсированное, а загнанное глубже, в структуру личности. Мать, пережившая экзистенциальный ужас уничтожения, транслировала своему сыну жесткую установку: мир смертельно опасен, доверять нельзя никому, слабость карается смертью.

— А отец? — спросил Павел.

— Отец, Леонид Дворкин, ушел из семьи, когда Саше было десять лет, — ответила Елена Борисовна. — Развод был тяжелым, со скандалами. Для мальчика в этом возрасте — а это начало пубертатного периода, когда формируется мужская идентичность, — исчезновение отца стало огромным ударом. Он остался в чисто женском, крайне дисфункциональном окружении. Ведь в квартире, помимо

матери, жила его старшая сестра. Она была инвалидом с детства, тяжелая родовая травма, состояла на учете в психоневрологическом диспансере. Представляете атмосферу? С одной стороны — тяжелобольная сестра, требующая постоянного ухода, с другой — мать с ее военными травмами и завышенными требованиями, а с третьей — дед.

— Дед? — Павел сделал первую пометку в блокноте.

— Да, Зиновий Букчин. Он был профессором, доктором наук, но в сталинские времена отсидел приличный срок в лагерях. Его освободили в пятьдесят пятом, как раз когда Саша родился. Реабилитировали позже. Из-за судимости его долго не брали на работу в Москве, он устроился экономистом на сыроваренный завод в Угличе, жил там, но часто приезжал. Дед во многом заменял Саше отца. Но это был человек, сломанный лагерной системой. Он воспитывал внука в атмосфере постоянной подозрительности. Помню, Саша как-то проговорился в школе, что дед заставил его выбросить какие-то копейки, которые мальчик нашел на улице, кричал, что их всех арестуют за валютные махинации. Страх перед государством, перед системой контроля был в этой семье воздухом, которым они дышали.

Павел слушал, и перед его мысленным взором складывался классический пазл. Семейная система закрытого типа, эмоциональная депривация, отсутствие здоровой мужской фигуры для подражания, постоянный латентный стресс и стигматизация. В таких условиях у ребенка практически нет шансов сформировать здоровую, интегрированную личность.

— Как Саша вел себя в школе? — спросил Павел, переводя разговор на самого Дворкина.

Елена Борисовна покачала головой, ее лицо выразило смесь жалости и брезгливости.

— Он был изгоем. Абсолютным. Учился посредственно, на тройки и четверки. Особенно плохо ему давались точные науки, математику он просто ненавидел. Зато много читал, увлекался историей. Но знаете, как он читал? Он не просто сопереживал героям, он полностью уходил в фантазии. Представлял себя великими полководцами, правителями. У него была выраженная склонность к патологическому фантазированию — то, что у вас, врачей, как-то по-научному называется.

— Псевдология фантастика, — тихо произнес Павел.

— Да, наверное. Он постоянно врал сверстникам. Рассказывал, что его отец — то ли грек, то ли вождь индейцев. Мальчишки, конечно, быстро ловили его на лжи и жестоко били за это. Он был физически неразвитым, слабым, трусливым. Защитить себя не мог. Пытался привлечь к себе внимание хвастовством, но это вызывало только новую волну агрессии. Друзей у него не было. Из-за постоянных конфликтов мать перевела его в третьем классе в нашу школу, № 367, но и здесь ничего не изменилось. Он продолжал симулировать болезни, набивал температуру перед уроками, лишь бы не идти в класс, где его презирали.

Павел открыл портфель и достал копию школьной характеристики, которую ему передал Михаил. Он зачитал Елене Борисовне фрагмент, чтобы верифицировать документ:

«...В коллективе класса Дворкин А. Л. авторитетом не пользуется. Друзей не имеет. Отношения со сверстниками напряженные из-за склонности мальчика к хвастовству и вымыслам... На замечания учителей реагирует болезненно, часто симулирует недомогание, жалуется на головные боли, искусственно завышает температуру тела перед уроками...»

— Да, все верно, — подтвердила Елена Борисовна. — Это писала его классный руководитель. Она пыталась ему помочь, но Саша был закрыт. В его поведении сквозила какая-то тихая, затаенная злоба на весь мир. Он ненавидел любые коллективные мероприятия.

— Я читал в его воспоминаниях, что в возрасте восьми лет он совершил побег из пионерского лагеря, — заметил Павел. — Перелез через забор через две недели после начала смены и убежал.

— О, об этом у нас в школе долго говорили, — оживилась Елена Борисовна. — Для домашнего, избалованного мальчика из интеллигентной московской семьи это был экстраординарный поступок. Что там произошло на самом деле, в лагере, никто так и не узнал. Но Саша вернулся оттуда совершенно диким. Он возненавидел все, что было связано с коллективом, как он сам потом писал, «жизнь под горн и барабан».

Павел сделал глубокий вдох. Как специалист, он понимал: побег восьмилетнего ребенка из лагеря — это не каприз. Это крайняя, отчаянная стратегия спасения. В детских коллективах того времени процветала жестокая дедовщина. Высока вероятность того, что слабый, хвастливый и не умеющий постоять за себя Саша подвергся там систематическому физическому или

психологическому насилию, возможно, публичному унижению, с которым его хрупкая психика не смогла справиться.

Именно в этой точке произошел ключевой сдвиг. Не имея возможности сопротивляться агрессорам, ребенок прибег к психологической защите — идентификации с агрессором. Если ты не можешь победить тех, кто причиняет тебе боль, ты должен сам стать тем, кто причиняет боль. Но поскольку физически он оставался слабым, его агрессия приняла иные, скрытые и манипулятивные формы.

— Елена Борисовна, — Павел внимательно посмотрел на женщину. — В архивных материалах я нашел упоминание об одном инциденте на стройке. Вы помните что-нибудь об этом?

Лицо пожилой учительницы мгновенно побледнело. Она опустила глаза, ее пальцы судорожно сжали край скатерти.

— Это... это была страшная история, Павел Петрович.

— Расскажите мне, — тихо, но твердо попросил Павел. — Это жизненно важно. Сейчас от этого зависит судьба моего сына.

Елена Борисовна молчала несколько минут. За окном шумел дождь, в комнате тикали старые настенные часы. Наконец она заговорила, и ее голос стал совсем тихим, почти шепотом:

— Это случилось осенью. Саша тогда учился в девятом классе. Рядом со школой, на Стромынке, строился новый жилой дом. Котлован был глубокий, огороженный хлипким забором. Мальчишки часто бегали туда играть, несмотря на запреты. У Саши был один... ну, трудно назвать его другом, скорее ведомый товарищ. Яша. Мальчик из очень бедной семьи, сильно заикался, робкий, забитый. Саша полностью подчинил его себе. Яша смотрел на него снизу вверх, готов был выполнить любое приказание, лишь бы Саша с ним общался.

Павел слушал, затаив дыхание. Он понимал, что сейчас прикасается к самому ядру патологии.

— Что произошло в тот день, — продолжала Елена Борисовна, — я узнала из книги, которую нашла недавно, её автор в деталях описывает ужасающие события. Вот послушайте, я вам зачитаю дословно то, что до сих пор приходит мне ночами в кошмарных снах, — Елена Борисовна сделала глоток чая, ее рука заметно дрожала, она тихо начала читать:

«...Первое, что Сашка сделал — сорвал с мальчика серый шарф. Он использовал его, чтобы завязать мальчику руки за спиной. Стянул так сильно, что узлы впились в детскую кожу.

Мальчик сопротивлялся. Он кричал и бился, когда Сашка стал принуждать его к сексу. Но сопротивление только разжигало в Дворкине зверя. Он начал его избивать. А потом... потом он его изнасиловал. Там, на бетонных плитах, среди серой пыли и ржавой арматуры.

В конце Сашка развязал серый шарф с рук мальчика. Но не для того, чтобы отпустить. Он накинул его ребенку на шею и начал душить. Мальчик дёргался, отчаянно цепляясь за жизнь, но хватка была жесткой. Когда ребенок затих, Заикашка стоял рядом, парализованный страхом, и смотрел, как жизнь уходит из этого тельца по капле...»

— Он умер? — прошептал я.

— Заикашка тоже так подумал, — голос Елены Борисовны дрогнул и она продолжала читать:

«...Но, когда Сашка отпустил концы шарфа, стало ясно: мальчик еще жив. Он едва дышал, хрипел. Заикашка очнулся от оцепенения и начал умолять Дворкина: “Прекрати! Отпусти его! Нас посадят, Сашка! Нас точно посадят!”. Знаешь, что тот ему ответил? Он посмотрел на друга ледяным взглядом и бросил: “Не посадят... Никто никогда не узнает, куда он пропал”.

В этот момент Сашка схватил ребенка, со спущенными штанами и потащил к яме. Он приказал Заикашке брать мальчика за ноги. Тот просил: “Давай отпустим, он же еще дышит!”. И тогда Сашка произнес фразу, которая обрубила все просьбы Заикашки: “Или мы бросаем его одного, или ты идёшь следом за ним”. Страх смерти оказался сильнее остатков совести. Заикашка сломался.

Сашка взял серый шарф и школьный портфель мальчика и швырнул их в яму туда, где уже лежал первоклассник. А потом...потом он начал с силой кидать в яму камни. Он приказал Заикашке делать то же самое.

Но самым жутким во всей этой сцене был смех. Сашка Дворкин дико, истерически смеялся. Он кричал что-то бессвязное, захлебываясь в этом inferнальном хохоте, пока камни дробили кости ребенка. Это не просто смех — это был торжествующий вопль существа, которое окончательно разорвало связь с человечеством. Он был не в себе, он упивался агонией, он кричал что-то бессвязное,

швыряя камень за камнем. Заикашка был в ужасе от этого хохота, от того, как исказилось лицо его “друга”. Он в ужасе смотрел на Сашку и понимал, что перед ним не человек, а нечто, вышедшее из бездны. Когда они уходили со стройки, Сашка был абсолютно спокоен. Словно он не ребенка в яме похоронил, а просто сходил в кино...»

Я откинулся на спинку стула, чувствуя, как внутри меня закипает ярость.

— Вы понимаете глубину этой патологии, Павел? Тот опыт абсолютной безнаказанности, власти над чужой агонией под собственный хохот — это фундамент всей его жизни. Он чувствует ту же самую вседозволенность, ту же власть «решать, кому исчезнуть». Он верит, что за ним — сила системы. Для Сашки это стало триумфом и началом пути. А для Заикашки — началом конца.

Павел почувствовал, как у него внутри все заledenело.

Павел открыл свой блокнот и быстро записал несколько ключевых терминов: *«Опосредованное насилие. Сигнатурный аспект — потребность в доминировании через чужое унижение и страх без прямого физического контакта. Использование ведомого соучастника для грязной работы. Наслаждение беспомощностью жертвы».*

Это был первый задокументированный акт насилия, совершенный будущим инквизитором. И он нес в себе все признаки его взрослого почерка.

Павел поблагодарил Елену Борисовну, оставил ей свой номер телефона на случай, если она вспомнит еще какие-то детали, и вышел на улицу.

Дождь продолжал лить, смывая грязь с московских тротуаров. Павел шел по Стромынке, глядя на современные многоэтажки, выросшие на месте тех самых пустырей и строек его детства. Он отчетливо представлял себе картину: глубокий грязный котлован, мертвый первоклассник на дне и Сашка Дворкин, стоящий на краю, возвышающийся над чужой болью, управляющий чужой жизнью и упивающийся своей абсолютной, безнаказанной властью.

Как психиатр, Павел понимал, что этот инцидент не был случайным подростковым срывом. Это была манифестация глубокого личностного расстройства. Саша Дворкин, физически слабый, презируемый сверстниками, травмированный жесткой матерью и параноидальным дедом, нашел свой способ компенсации. Он не мог доминировать в честном бою. Но он мог доминировать, создавая ситуации, где другие оказывались в положении абсолютной

беспомощности, а он выступал в роли судьи и палача, оставаясь при этом формально чистым.

«Почему + Как = Кто», — вспомнил Павел знаменитую формулу профайлеров Джона Дугласа и Марка Ольшейкера из книги «Mindhunter».

Почему он это делал? Потому что его собственное эго было раздавлено семейной дисфункцией и школьной травлей. Ему жизненно необходим был суррогат власти, чтобы не сойти с ума от собственной ничтожности.

Как он это делал? Через манипуляцию ведомыми, через создание герметичных ситуаций контроля, где жертва лишена возможности защищаться, а сам он находится в безопасности, на высоте.

Кто он после этого? Высокоорганизованный психопат с латентными садистическими наклонностями, который со временем научится упаковывать этот внутренний импульс в респектабельные социальные формы.

Павел сел в машину и включил свет в салоне. Он достал из портфеля копию того самого экспертного заключения против своего сына Ильи, которое изучал накануне.

В экспертизе против Ильи взрослый, облеченный властью профессор Александр Дворкин делал ровно то же самое, что делал пятнадцатилетний подросток Саша на стройке. Он не арестовывал Илью лично. Он не применял к нему физического насилия. Он просто стоял на краю «котлована» — на трибунах конференций, в эфирах телеканалов, на заседаниях экспертных советов — и отдавал приказы. Он бросал слова-камни: «деструктивный культ», «иностранное влияние», «экстремизм». И послушная, запуганная система — университетское руководство, бывшие друзья, соседи — послушно швыряла эти камни в его сына, пока тот медленно ломался на дне своей социальной изоляции.

Павел прижал пальцы к вискам. В его голове выстраивалась страшная, но безупречно логичная картина. Он понял, что столкнулся не просто с коррумпированным чиновником или фанатичным богословом. Он столкнулся с человеком, который всю свою жизнь, шаг за шагом, выстраивал эту гигантскую социальную машину для удовлетворения одной-единственной, зародившейся еще в детстве потребности — потребности видеть чужую беспомощность и упиваться своей властью над чужой судьбой.

И эта машина работала без сбоев, потому что общество, парализованное страхом, добровольно соглашалось играть роль того самого заикающегося Яши, бросающего камни по первому приказу хозяина.

Павел завел двигатель. Машина медленно тронулась с места, унося его прочь от серых дворов. Первые контуры психологического профиля были очерчены. Но это было только начало. Чтобы разрушить эту маску, нужно было пройти весь путь ее создателя до конца. И следующим шагом должно было стать исследование того периода, когда латентная жестокость подростка столкнулась с реальной смертью.

Глава 3. Диссоциация и пруды

Сырой, пронизывающий ветер сдувал с веток старых лип тяжелые капли. Третий Путяевский пруд в Сокольниках лежал под серым, ноздреватым льдом, который у берегов уже потемнел и напился водой. В этот будний день здесь было безлюдно. Лишь изредка по асфальтовой дорожке проходили редкие прохожие, кутаясь в воротники пальто от наползающего с реки тумана.

Павел шел медленно, глядя под ноги. Его ботинки оставляли глубокие следы в талом, грязном снегу. В кармане пальто лежал диктофон, но он не был уверен, что решится его включить. Люди, пережившие семидесятые годы в этих дворах, неохотно делились воспоминаниями. Страх, поселившийся здесь полвека назад, никуда не исчез — он просто стал частью местного ландшафта, как эти старые, покосившиеся деревья и серые кирпичные пятиэтажки.

Николай Петрович Козлов ждал его у деревянной беседки на берегу. Это был невысокий, сухощавый мужчина, одетый в поношенную болоневую куртку и вязаную шапку. Он держал на коротком поводке старого, глуховатого спаниеля, который лениво обнюхивал жухлую траву. Николай Петрович был одноклассником Саши Дворкина и Яши — того самого «Заикашки», чья жизнь оборвалась здесь в июне 1971 года.

— Вы извините, что заставил вас прийти сюда, — тихо произнес Павел, подходя к беседке. — Но мне важно увидеть это место. Понять, как все выглядело тогда.

Николай Петрович грустно улыбнулся, поправил очки и посмотрел на темную воду, проступающую сквозь трещины во льду.

— Да чего уж там, доктор. Я и сам здесь редко бываю. Тяжелое место. Хотя прошло уже больше пятидесяти лет, а мне все кажется, что я вижу их двоих. Они ведь всегда ходили парой. Саша — высокий, нескладный, вечно что-то бубнящий под нос, и Яшка — маленький, испуганный, заикающийся так, что каждое слово давалось ему с трудом. Яшка ведь буквально дышать без Саши не мог. Тот его полностью подчинил.

— Расскажите про тот день, когда Яша утонул, — попросил Павел, стараясь, чтобы его голос звучал максимально нейтрально, по-врачебному.

Николай Петрович вздохнул, его пальцы крепче сжали поводок собаки.

— Это было в самом конце девятого класса. Экзамены только закончились, стояла жуткая жара. Вечером, накануне трагедии, Яшка зашел к нашей однокласснице. Она потом рассказывала моей жене, что он был какой-то странный — воодушевленный, почти счастливый. Сказал ей, что Сашка пригласил его завтра на пруды «пускать кораблики» и поговорить по душам. Представляете, доктор? Кораблики. В пятнадцать лет. Это было так по-детски, так нелепо. Но Яшка верил Саше безгранично.

— А на следующий день?

— На следующий день Яшка не вернулся домой. Его искали сутки. Нашли здесь, у Третьего пруда. Официальная версия гласила: несчастный случай. Подросток не удержал равновесие в лодке, ударился головой, выпал и захлебнулся. Эксперты нашли след от удара на затылке и закрыли дело. Сашка клялся, что его там не было. Хотя мать Яшки знала, все знали, что они ушли вместе. Но у Сашки было железное алиби. Его сестра. Психически больная девочка. Она физически не могла подтвердить или опровергнуть его слова. Она была идеальной ширмой.

Павел зафиксировал этот момент. В его сознании, как на фотобумаге в проявителе, начал проступать контур психологической защиты Сашки Дворкина.

— Как Саша вел себя после этого? — спросил Павел. — На похоронах?

— В том-то и дело, что никак, — Николай Петрович повернулся к Павлу, и в его глазах промелькнуло давнее, не угасшее с годами недоумение. — Он просто не пришел на похороны. Вообще. Когда одноклассница спросила его в школе, почему его не было, он пожал плечами и сказал, что ему там «скучно». Понимаете? Не

страшно, не больно, а именно скучно. Мать Яшки после этого совсем рассудком двинулась, ходила к их дому, кричала под окнами. А Саша просто закрывал шторы. Он вел себя так, словно Яшки никогда не существовало. Словно этот мальчик был просто старой игрушкой, которую он выбросил за ненадобностью.

Павел молча кивнул. Как психиатр, он понимал, что за этим «скучно» скрывался глубочайший, патологический процесс. Это не было обычным подростковым цинизмом. Это была диссоциация — защитный механизм психики, при котором человек полностью отделяет себя от травмирующего события, вытесняя его из сознания. Субъект смотрит на трагедию со стороны, как на скучный фильм, в котором он не принимает участия. Но такое радикальное расщепление личности не проходит бесследно. Оно оставляет в душе огромную, зияющую пустоту, которую нужно чем-то заполнять, чтобы не сойти с ума от подсознательного ужаса.

Павел попрощался с Николаем Петровичем и направился к своей машине. В его блокноте появилась новая запись. Смерть Яши стала для Саши Дворкина точкой невозврата. Психика подростка, не способная переработать ужас содеянного включила мощнейший защитный механизм — диссоциацию. Он буквально отделил себя от реальности, в которой произошло это событие. Но этот внутренний раскол требовал постоянной подпитки, искусственного ухода от нарастающего напряжения.

Именно тогда в его жизни появились наркотики и субкультура, которая казалась идеальным убежищем для тех, кто не хотел соприкасаться с реальностью.

Павел поехал на Преображенскую площадь. Там, в полуподвальном помещении старого кирпичного дома, располагалась небольшая переплетная мастерская. Ее хозяин, Геннадий Воронов, в семидесятых годах был известен в московской неформальной среде под кличкой «Гена-Кактус». Ему удалось разыскать его через старых знакомых по диссидентским архивам.

На полках в мастерской стояли стопки старых книг, ждущих реставрации. Сам Гена-Кактус, плотный мужчина с длинными седыми волосами, собранными в хвост, и в потертом джинсовом жилете, аккуратно обрезал края книжного блока на ручном станке.

— Психиатр, значит? — Гена-Кактус не отрывался от работы, его голос был хриплым от многолетнего курения. — Ну, спрашивай, доктор. Про «Систему» тех

лет мало кто помнит. Все разъехались, кто на Востряковское, кто в Штаты, кто в Израиль.

— Я ищу информацию об Александре Дворкине, — Павел сел на свободный табурет у верстака. — В вашей среде его знали как Сашу-Длинного.

Гена-Кактус замер. Нож в его руке на мгновение остановился, а затем он медленно повернул голову к Павлу.

— Саша-Длинный... Ну надо же. Сколько лет это имя не слышал. Да, помню такого. Он появился у нас году в семьдесят втором, как раз когда в МГПИ поступил на филфак. Высокий, худой, вечно сутулился, волосы грязные до плеч. Но знаешь, доктор, он никогда не был настоящим хиппи. Хиппи — это ведь про свободу, про любовь, про музыку, пусть и наивно все это было. А Саша-Длинный... он был холодным.словно внутри у него стоял ледяной стержень. Он прибил к нам, потому что в нормальном обществе его не принимали, он там был изгоем. А у нас ведь принимали всех.

— Как он вел себя в общине? — спросил Павел.

— Он был манипулятором, — Гена-Кактус отложил нож и вытер руки ветошью. — Очень скользкий тип. Сам ничего не делал, работать ненавидел, учиться тоже быстро бросил — со второго курса в институте у него начались проблемы, он занятия неделями пропускал. Но он обожал «гнать телеги». Садился в угол на каком-нибудь флэте и начинал плести длинные, вязкие истории. Рассказывал, какой он особенный, как он видит людей насквозь. Он выискивал среди новичков самых слабых, забитых ребят, у которых были проблемы с родителями, и начинал их «опекать». На самом деле он просто подчинял их себе. Ему жизненно необходимо было, чтобы кто-то смотрел на него снизу вверх.

— А квартира Офелии? — Павел заглянул в свои записи. — Вы помните это место?

— Еще бы не помнить, — Гена-Кактус усмехнулся, в его глазах промелькнула тень воспоминаний. — Флэт Офелии на Хорошевке — это было легендарное место. Там собиралась группа «Волосы». Офелия — девка была некрасивая, но с бешеной энергетикой, держала всю компанию в кулаке. Саша-Длинный там постоянно ошивался, хотя Офелию втайне ненавидел. Его бесило, что она лидер, что ей все подчиняются. Он ведь сам хотел быть главным, но силенок не хватало. Вот он и крутился рядом, высматривал, кто послабее.

Гена-Кактус сел напротив Павла и закурил дешевую сигарету.

— Но главное, доктор, это наркотики. В те годы «Система» на этом плотно сидела. И Саша-Длинный не просто употреблял, он в этом деле был настоящим фармацевтом. Мы-то попроще были — портвейн, травка, ну димедрол иногда, чтобы забыться. А он подходил к вопросу научно. Знал все аптечные препараты, все дозировки.

Павел открыл блокнот и приготовился записывать.

— Что именно он употреблял?

— Да все подряд, — махнул рукой Гена-Кактус. — Полинаркомания в чистом виде. Начинал с седуксена, потом перешел на кодеин с ноксироном. Он сам хвастался, помню, говорил: «Если на пять кодеиновых брать одну ноксироновую, то кайф получается красивый и чистый, как китайская гравюра». Он циклодол горстями жрал, чтобы галлюцинации ловить. Барбитуру всякую — барбамил, фенобарбитал. Когда маковый сезон начинался, они с ребятами самодельный опий варили. Он знал технологию до мелочей. Помню, один раз он вмазался каким-то венгерским препаратом, фентопилом, кажется, который перед операциями колют. Так его так скрутило — спина назад ушла, шея вперед, глаза выкатились. Мы испугались, думали, помрет. А он оклемался и давай опять за свое.

Павел слушал, и его клинический разум выстраивал патофизиологическую карту разрушения личности. Полинаркомания в пубертатном и юношеском возрасте, особенно с использованием таких тяжелых препаратов, как циклодол (мощный холинолитик), ноксирон и кодеин, неизбежно ведет к органическим поражениям головного мозга. В первую очередь страдают лобные доли — отделы, отвечающие за социальный контроль, прогнозирование последствий и, самое главное, за эмпатию.

У Дворкина эти функции изначально были дефектными, что подтверждалось его детским поведением. Химическая интоксикация лишь окончательно выжгла остатки человечности. Но был и другой, чисто психиатрический аспект. Наркотики усиливали диссоциацию. Диссоциативные вещества блокируют NMDA-рецепторы в мозге, нарушая интеграцию сенсорной информации с высшими когнитивными функциями. Это приводит к деперсонализации и дереализации — состоянию, когда человек чувствует себя бесплотным духом, наблюдающим за собственным телом со стороны.

Для человека, несущего в подсознании груз вины за смерть друга, это было идеальным спасением. Он уходил в химическую диссоциацию, чтобы не чувствовать себя убийцей. Он становился «наблюдателем».

— А история с Толей Вайнбергом? — спросил Павел. — Вы знали его?

Гена-Кактус помрачнел, его лицо посуровело.

— Толю? Конечно, знал. Хороший был парень, умный, но слабый. Он ведь Сашу в «Систему» и привел, показал ему все флэты, познакомил с людьми. А Саша его предал. Самым гнусным образом. Толя тогда принес в школу пакетик с героином, хотел грузинам продать, глупый был. Саша об этом пронюхал. Когда Толя узнал, что Саша его закладывает, он поймал его в подворотне, прижал к стене с ножом. Саша тогда чуть не обмочился от страха, на колени встал, умолял не резать. Толя его пожалел, отпустил. И что вы думаете?

Гена-Кактус затушил сигарету о край жестяной банки.

— Саша прибежал домой, заперся на все замки и написал подробнейший донос. Расписал все: кто употребляет, где берут, какие адреса, про Толю, про его вены, про героин. Его мать утром эту записку нашла, побежала к директору, вызвали милицию. Толю замели, он тогда крупно погорел. А Саша... Саша стоял в кабинете директора и плакал, разыгрывал из себя жертву, которую заставили это сделать под угрозой смерти. Он использовал ментов, чтобы уничтожить Толю, а сам вышел сухим из воды. Это его почерк, доктор. Он всегда так делал. Сам в драку не лезет, но как только прижмет — бежит писать донос, прикрываясь законом и мамочкой.

Павел почувствовал, как у него перехватило дыхание. Это было прямое подтверждение его гипотезы. Паттерн нарциссического оппортунизма и межличностной эксплуатации. Будущий инквизитор уже тогда, в юности, нашел свою идеальную формулу выживания: совершать подлости, уничтожать конкурентов и угрозы чужими руками — руками государственной карательной машины, — при этом сохраняя маску невинной жертвы или раскаявшегося грешника.

После встречи с Геной-Кактусом Павел поехал в свою клинику. Ему нужно было побыть в тишине своего кабинета, чтобы систематизировать полученные данные. Он сел за стол, открыл ноутбук и углубился в чтение медицинских

документов советского периода, которые ему удалось раздобыть через архивные каналы.

Перед ним лежала копия амбулаторной карты Александра Леонидовича Дворкина из Московского психоневрологического диспансера № 3, где тот состоял на учете с 1973 по 1977 год.

Павел медленно листал пожелтевшие страницы, вчитываясь в неровный почерк советских психиатров. Вот запись, датированная осенью 1975 года — как раз после его отчисления из МГПИ «за убеждения, несовместимые с теми, которыми должен обладать будущий советский учитель». На самом деле, за этим красивым идеологическим штампом скрывалось банальное бродяжничество, прогулы и прогрессирующая наркомания.

Но самый важный документ ждал его дальше. Это было экспертное заключение Военно-врачебной комиссии (в документах ошибочно именовавшейся Военно-промышленной комиссией), куда Дворкин был направлен военкоматом для прохождения психиатрической экспертизы по уклонению от службы в армии.

Павел включил настольную лампу и начал читать документ, содержащий подробные клинические записи:

«Пациент работает санитаром в отделении реанимации Городской больницы № 67. Жалуется на слабость, утомляемость, сниженное настроение, безразличие ко всему. Сегодня на работу не вышел. Экстравагантен, носит бороду и длинные волосы. Лечение: амитриптилин по ½ таблетки 3 раза в день. 12 января 1976 года. Принимает лечение, стал чувствовать себя лучше. Настроение более ровное. Меньше выражены вялость и слабость, однако депрессивное состояние сохраняется. Лечение: амитриптилин по 1 таблетке 3 раза в день. 14 января 1976 года. Направлен в Военно-промышленную комиссию. Состояние улучшилось, настроение более устойчивое, меньше выражены тоска и апатия. Сегодня на работу не вышел, так как долго спал, однако намеревался работать. Психотической симптоматики нет. Диагноз: циклотимия. Лечение: без изменений. Больничный лист с 14 января 1976 года; выход на работу — 15 января».

Павел откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Как опытный клиницист, он прекрасно понимал, что стояло за этим сухим текстом.

В Советском Союзе «косить» от армии по психиатрии было распространенной практикой среди неформальной молодежи и диссидентов. Но Дворкин делал это с

особой, свойственной ему расчетливостью. Диагноз «циклотимия» — легкое аффективное расстройство, характеризующееся колебаниями настроения от депрессии до гипомании, — был идеальным компромиссом. Он освобождал от службы в армии, но не вел к тяжелой инвалидизации или принудительному лечению в спецпсихбольницах, как шизофрения.

Дворкин симулировал симптомы, используя свои глубокие познания в фармакологии и психиатрии, которые он приобрел за годы употребления наркотиков и общения в маргинальной среде. Он знал, что говорить врачам, как демонстрировать «вялость и слабость», как жаловаться на «безразличие ко всему». Он послушно пил амитриптилин — тяжелый трициклический антидепрессант, который в сочетании с его полинаркоманией давал нужную клиническую картину заторможенности и апатии.

Но за этой симуляцией скрывалась реальная, глубокая патология. Его личность стремительно деградировала. Бродяжничество, отказ от учебы, постоянные конфликты в семье, доходившие до истерических срывов и демонстративных попыток самоубийства — все это были признаки нарастающего внутреннего распада.

Психика Дворкина окончательно раскололась на две части.

Первая часть — это внешняя социальная маска. Экстравагантный юноша с длинными волосами и бородой, «жертва советского режима», несчастный больной с диагнозом «циклотимия», ищущий сочувствия и понимания.

Вторая часть — это холодный, расчетливый манипулятор, который пишет доносы на друзей, упивается своей властью над слабыми, употребляет тяжелейшие химические коктейли и испытывает странный, патологический интерес к пограничным состояниям человеческого существования.

Павел встал и подошел к окну кабинета. Дождь за стеклом сменился мокрым снегом, который мгновенно таял на асфальте.

Он думал о своем сыне Илье. Илья сейчас находился в состоянии глубокого психологического кризиса. Но его страдание было чистым, человеческим. Илья страдал, потому что его мир, построенный на вере в науку, справедливость и честность, столкнулся с грязной, безжалостной ложью. Его разум сопротивлялся этой несправедливости, и это сопротивление причиняло ему боль.

А у создателя системы, которая уничтожала Илью, этой боли не было. Александр Дворкин еще в юности выжег в себе способность чувствовать чужую боль. Его мозг, измененный наркотиками и органической патологией, воспринимал мир как пустое, холодное пространство, где нет ни Бога, ни морали, ни сострадания. Есть только те, кто стоит на краю котлована, и те, кто лежит на его дне. И чтобы не оказаться на дне, нужно самому постоянно толкать туда других.

Павел вернулся к столу и взял ручку. Он открыл чистый лист в файле профиля и вывел крупными буквами:

«Эволюция маски: от диссоциации к институциональному насилию. Субъект компенсирует внутренний раскол и страх перед реальностью через создание искусственных систем контроля. Наркотики стерли биологические барьеры эмпатии. Опыт доносительства в юности закрепил паттерн использования государственного аппарата как инструмента личной безопасности и доминирования».

Павел понимал, что этот профиль — его единственное оружие. Он должен был дописать его до конца, пройти вместе с Дворкиным все этапы его жизни, включая те, о которых сам профессор предпочитал никогда не вспоминать.

В тишине кабинета тихо шуршали страницы архивных документов. Павел перевернул лист, переходя к следующему периоду жизни своего оппонента — периоду, когда его патологический интерес к смерти и власти получил официальный статус и белые халаты.

Глава 4. Белые халаты и власть над дыханием

Дорога к Городской клинической больнице № 67 лежала через серые, размытые дождем кварталы Хорошевского шоссе. Павел вел машину медленно, вглядываясь в силуэты типовых панельных домов и промышленных зон, которые в этот предвечерний час казались особенно унылыми. Мимо проносились тяжелые грузовики, обдавая лобовое стекло грязной жижей.

Для большинства москвичей этот район ассоциировался с тихой послевоенной застройкой и близостью к Серебряному Бору. Но для Павла, вооруженного архивными выписками и профессиональным азартом исследователя, Хорошевка теперь выглядела иначе. Это была территория, где в середине семидесятых годов прошлого века оформлялся один из самых зловещих поведенческих паттернов в биографии человека, ставшего сегодня главным преследователем его сына.

Павел припарковал «Вольво» на обочине, неподалеку от массивных ворот больничного комплекса. Основанная в конце пятидесятых годов, 67-я больница представляла собой огромный медицинский комбинат. В глубине ее территории, среди кирпичных корпусов, скрывалось Отделение реанимации и интенсивной терапии № 2 — знаменитая травматологическая реанимация. Сюда, в этот хрупкий и страшный мир между бытием и небытием, в конце 1975 года устроился работать санитаром молодой Александр Дворкин.

Павел не ограничился изучением открытых источников. Как практикующий врач, он понимал, что официальные мемуары всегда пишутся с целью самопрезентации и ретуширования темных углов. Ему нужны были живые свидетели, те, кто работал бок о бок с будущим профессором в те долгие ночные смены, когда в реанимацию привозили искалеченных в авариях и на стройках людей.

Через Совет ветеранов здравоохранения Москвы Павлу удалось выйти на Тамару Сергеевну Шестакову. В 1976 году она работала палатной медсестрой в ОРИТ № 2, а позже, вплоть до начала двухтысячных, занимала должность старшей медсестры отделения. Сейчас, будучи на пенсии, она жила в небольшой двухкомнатной квартире всего в десяти минутах ходьбы от больницы.

Тамара Сергеевна встретила Павла настороженно. Это была строгая, подтянутая старушка, с гладко зачесанными седыми волосами и пронизательным взглядом человека, видевшего слишком много смертей. На кухонном столе, покрытом клеенкой, уже стояли две чашки и старый эмалированный чайник.

— Психиатр, говорите? — Тамара Сергеевна аккуратно налила заварку. — И интересуетесь кадрами пятидесятилетней давности? Необычный визит, Павел Петрович. Обычно к нам приходят, только если нужно подтвердить стаж для пенсии.

— Мой интерес носит исключительно исследовательский, а теперь уже и личный характер, Тамара Сергеевна, — Павел достал из портфеля копию архивной

ведомости учета рабочего времени персонала ОРИТ № 2 за первый квартал 1976 года, которую ему помогли достать коллеги. — В этой ведомости значится санитар Дворкин А. Л. Вы помните его?

Шестакова взяла лист, надела очки и долго всматривалась в блеклые фиолетовые чернила. Ее лицо постепенно менялось, на нем проступали тени старых, неприятных воспоминаний.

— Сашка... — тихо произнесла она. — Сашка Дворкин. Господи, конечно, помню. Такое не забывается, как бы ни хотелось. Он ведь у нас проработал всего ничего, но крови попортил немало. Станный он был. Очень странный мальчик.

Павел открыл блокнот.

— В своих автобиографических книгах Александр Леонидович описывает этот период с большой теплотой. Позвольте, я зачитаю вам фрагмент?

Он открыл распечатку и прочитал вслух, сохраняя ровную, клиническую интонацию:

«К тому времени я работал санитаром в отделе травматической реанимации 67-й горбольницы, недалеко от моего тогдашнего дома на Хорошевке. Туда я устроился сразу же по возвращении из автостопного путешествия в Одессу. Работа была весьма напряженной, но приносила мне удовлетворение, так как я видел, что помогаю людям в самом беспомощном состоянии и тем самым приношу пользу. В отличие от клиники сердца, где мой контакт с больными был эпизодическим (сделал рентгеновский снимок и укатил), тут я был при пациентах постоянно. Люди к нам поступали сильно искалеченные, после аварий и катастроф. Я старался исполнять свои нехитрые обязанности не за страх, а за совесть: подавал больным утку и судно, перестилал им постели, подкладывал подушки, приносил еду и питье. Даже уколы научился делать и делал их, по словам больных, хорошо: они часто просили, чтобы уколол их именно я. Напарником моим по отделению оказался Женя Маргулис — бас-гитарист из той самой “Машины времени”, которая постепенно выдвигалась на лидирующее место среди московских групп. Тогда она, как и все самые лучшие из них, играла английскую музыку. Мы с Женей перекладывали больных на каталки и везли их на операции, потом назад. Больных, которым делалось лучше, мы с радостью катили наверх, в терапевтическое или хирургическое отделение, умерших же покрывали простыней и отвозили вниз — в морг. Помню, как я плакал, столкнувшись с первой смертью одного из наших пациентов. И хотя потом, как и у всех медицинских работников, душа моя огрубела,

я все же сильно переживал по поводу каждой из весьма частых в нашем отделении смертей».

Тамара Сергеевна слушала, и на ее губах появилась горькая, саркастическая усмешка. Когда Павел закончил читать, она покачала головой.

— Как красиво написано. Прямо житие праведника. «Не за страх, а за совесть», «плакал над первой смертью»... Знаете что, Павел Петрович? Все это — ложь от первого до последнего слова. Точнее, полуправда, которая хуже любой лжи.

— Что именно вас смущает в этом описании? — спросил Павел, фиксируя ее реакцию.

— Да всё! — Шестакова эмоционально всплеснула руками. — Начнем с уколов. Вы понимаете, что такое травматологическая реанимация в советской больнице? Это отделение, где лежат люди с тяжелейшим шоком, с раздробленными костями, после падений с высоты, с открытыми черепно-мозговыми травмами. Каждая инъекция — это вопрос жизни и смерти. Вводить препараты имели право только процедурные или палатные медсестры, строго по назначению врача. Санитар — это младший персонал. Его дело — мыть полы, выносить судна, протирать пыль и помогать перекладывать тела. То, что он «научился делать уколы» и делал их — это вопиющее нарушение всех медицинских инструкций того времени!

Она сделала глоток чая, пытаясь успокоиться.

— Если он действительно делал уколы, как сам пишет, значит, он делал их тайно. Или манипулировал девчонками-медсестрами, которые зашивались на дежурствах и доверяли ему то, что категорически нельзя было доверять. Но самое страшное не это. У нас в отделении тогда регулярно пропадали ампулы.

Павел внутренне подобрался.

— Какие именно препараты пропадали?

— Обезболивающие. Наркотические анальгетики. Промедол, фентанил. В реанимации их расход огромный, учет был строгий, но в суматохе ночных дежурств, когда привозили сразу нескольких тяжелых, уследить за всем было невозможно. Мы грешили на молодых медсестер, думали, кто-то балуется или ворует на продажу. Были проверки, скандалы. Сашку тогда никто за руку не поймал, но сейчас, зная его дальнейшую судьбу и то, как он сам хвастался своими познаниями в фармакологии... Я уверена, что это его рук дело. Он ведь крутился у шкафов с медикаментами постоянно.

Павел сделал пометку в блокноте: *«Сознательное нарушение институциональных норм. Использование медицинской роли для получения доступа к контролируемым веществам и расширения зоны личного влияния».*

— А как он относился к пациентам? — спросил Павел. — Он действительно «старался облегчить их участь»?

Тамара Сергеевна на мгновение замолчала, глядя в окно, где на фоне темнеющего неба вырисовывались корпуса 67-й больницы.

— Знаете, доктор, в медицине есть такое понятие — профессиональная деформация. Мы действительно со временем черствеем, иначе просто с ума сойдешь от постоянного созерцания чужой боли. Но у Саши это было не огрубение души. Это было что-то другое. Холодное, исследовательское любопытство.

Она повернулась к Павлу, и ее голос зазвучал тише.

— Обычные санитары, особенно молодые ребята, старались побыстрее сделать свою грязную работу и уйти в ординаторскую, чай пить или на гитаре играть — тот же Женя Маргулис, веселый был парень, всегда старался разрядить обстановку. А Сашка... Сашка буквально лип к умирающим. Когда у пациента начиналась агония, когда врачи понимали, что сделать уже ничего нельзя, и отходили от койки, Сашка не уходил. Он вставал у изголовья и смотрел.

— Как именно смотрел?

— Не мигая. Как энтомолог на бабочку, которую прищипливают булавкой к картонке. В его глазах не было ни жалости, ни страха, ни брезгливости. Только какое-то странное, торжествующее удовлетворение. Он мог часами стоять рядом с человеком, который находился на аппарате искусственного дыхания, и наблюдать за показаниями приборов. Мы думали, он учится, хочет в медицинский поступать. Но он не задавал вопросов о лечении. Его интересовал только сам процесс угасания.

Павел кивнул. Перед ним открывалась классическая картина того, что в криминальной психологии называют феноменом «ангела смерти». Это специфический тип девиантного поведения, встречающийся у медицинских работников с выраженными садистическими наклонностями и комплексом бога.

— Тамара Сергеевна, — Павел мягко коснулся ее руки. — Вы помните какие-то конкретные случаи? Нам нужны факты. Имена, даты. Без этого мы не сможем доказать, что его экспертизы сегодня — это продолжение того же самого патологического процесса.

Шестакова тяжело вздохнула и потерла лоб.

— Был один случай. К нам поступил Анатолий Григорьевич Савельев. Строитель, сорок два года. На него упала бетонная плита на стройке неподалеку. Множественные переломы ребер, разрыв легкого, тяжелейший травматический шок. Мы боролись за него трое суток. Он был на искусственной вентиляции легких, без сознания, но периодически приходил в себя. Его жена дежурила в коридоре, плакала.

Она сделала паузу, словно заново переживая те события.

— В ночь дежурила я и Сашка Дворкин. Около трех часов ночи у Савельева начался отек легких. Это страшное состояние, человек начинает буквально тонуть в собственной мокроте, задыхается, изо рта идет пена. Нужно было срочно проводить санацию трахеобронхиального дерева, вводить диуретики, подключать аппарат на полную мощность. Я в этот момент побежала в соседнюю палату к другому тяжелому больному, у которого остановилось сердце. Крикнула Сашке: «Беги за дежурным врачом, быстро!»

— И что он сделал?

— Он не побежал, — тихо произнесла Тамара Сергеевна. — Когда я вернулась через семь минут вместе с врачом, Савельев уже был в состоянии клинической смерти. А Сашка... Сашка стоял у его койки. Он держал умирающего за руку. Но не так, как держат, чтобы утешить. Он сжимал его запястье, словно фиксировал пульс, и смотрел прямо в лицо Савельеву. Тот уже хрипел, глаза были широко открыты, в них был ужас задыхающегося человека. А Сашка стоял, наклонившись над ним, и что-то тихо шептал. На его лице была... я не знаю, как это назвать... какая-то безумная, сладострастная улыбка. Он словно пил этот страх.

— Врач не спросил, почему он не пришел?

— Сашка мгновенно изменился в лице, засуетился, начал лепетать, что испугался, растерялся, что у него самого закружилась голова. Разыграл из себя слабого, нежного мальчика, который впервые увидел смерть. Врач наорал на него, конечно, но списывать все на шок у молодого санитаря тогда было обычным делом. Савельева мы так и не спасли. А на следующий день Сашка как ни в чем не бывало рассказывал ребятам в курилке, что Савельев «был готов к встрече со Христом» и что он, Сашка, помог ему «перейти границу».

Павел быстро записывал каждое слово. Эти детали были бесценны. Они полностью разрушали фасад «сострадательного санитаря», который Дворкин так тщательно выстраивал в своих мемуарах.

Павел поблагодарил Тамару Сергеевну и вышел на улицу. Дождь прекратился, но воздух стал еще холоднее. Он сел в машину, включил плафон освещения и открыл ноутбук. Ему нужно было сопоставить показания Шестаковой с теоретической базой поведенческого анализа.

Он открыл файл профиля и начал печатать, формулируя выводы с предельной точностью.

«Анализ деятельности субъекта в ОРИТ № 2 ГКБ № 67 (1975–1976 гг.) выявляет формирование устойчивого комплекса “богоподобия”, сублимированного через легальный доступ к абсолютно беспомощным людям.

В отличие от классических серийных убийц в медицинской сфере (таких как Дональд Харви или Чарльз Каллен), которые часто использовали милосердие как рационализацию своих преступлений, у Дворкина наблюдается иная, более сложная когнитивная стратегия. Он не просто стремился прекратить страдания пациентов. Его привлекал сам процесс умирания как высшая точка утраты контроля со стороны жертвы и приобретения абсолютного контроля со стороны наблюдателя».

Павел вспомнил еще один фрагмент из книги Дворкина «Моя Америка», где тот рассуждает о больничной смерти:

«Умирание переносится в больничные стены, где живущего последние дни человека загружают наркотиками, транквилизаторами, антидепрессантами — чем угодно, только бы он не пребывал в полном сознании, не устроил бы никаких истерик или незапланированных выходов, чтобы его самого не мучили страхи и чтобы он в таком полубессознательном состоянии отошёл в мир иной».

«Какая поразительная проекция, — подумал Павел, глядя на экран. — Он критикует больничную систему не за отсутствие сострадания. Он критикует ее за то, что она лишает смерть “осознанности”. Ему нужно, чтобы жертва понимала, что она умирает. Ему нужен этот предсмертный диалог, этот взгляд задыхающегося Савельева, осознающего свою полную, абсолютную беззащитность перед лицом стоящего над ним санитаря».

Это было ключевое открытие.

Павел закрыл глаза и потер виски. Теперь он видел прямую, непрерывную линию, соединяющую девятиклассника на краю строительной ямы, в которой умер ребенок, двадцатилетнего санитара у постели умирающего строителя и сегодняшнего респектабельного профессора, штампующего экспертизы против инакомыслящих.

Методология осталась прежней. Изменился лишь масштаб и инструменты.

В 1968 году инструментом был заикающийся Яша и обломки кирпичей. В 1976 году инструментом были тайные инъекции, подмена ампул и сознательное неоказание помощи в моменты агонии. В сегодняшние дни инструментом стала государственная машина, СМИ и псевдонаучные экспертизы.

Но цель во всех трех случаях была одна и та же — введение жертвы в состояние полной, парализующей психологической беспомощности.

Когда Илья попал под удар этой системы, он столкнулся именно с этим методом. Его лишили возможности защищаться, заблокировали счета, заставили университет отвернуться от него, превратили его имя в клеймо. Это была та же самая «социальная реанимация», где жертва лежит без движения, подключенная к аппаратам общественного мнения, а над ней стоит «эксперт» Дворкин и решает, когда пора отключить кислород.

Павел открыл на ноутбуке текст экспертизы против своего сына. Он начал читать его заново, но теперь он видел за этими безликими юридическими формулировками конкретное лицо.

«...выявлены признаки манипулятивного воздействия...» — читал Павел. И в его сознании этот текст переводился как: *«Я лишаю тебя воли. Ты больше не субъект. Ты — объект моего исследования».*

«...формирование деструктивной зависимости...» — переводилось как: *«Ты полностью зависишь от моего решения. Твоя жизнь в моих руках».*

Это был психологический автограф. Дворкин не мог писать иначе. Его тексты, его книги, его экспертные заключения были пропитаны этой сладострастной жаждой контроля над чужим дыханием, чужим разумом, чужой судьбой.

Павел сохранил файл профиля и закрыл ноутбук. Он посмотрел на темные окна больничного корпуса. Где-то там, за этими стеклами, полвека назад молодой парень в белом халате впервые понял, что власть над чужой смертью дает ему

ощущение собственного всемогущества. И эту веру в свою исключительность он пронес через всю жизнь, превратив ее в государственную доктрину.

Павел завел двигатель. Машина медленно тронулась с места, унося его прочь от Хорошевского шоссе. Он знал, что его расследование только начинается. Впереди был самый загадочный период в жизни его оппонента — его внезапный отъезд из СССР и теологический инкубатор в Соединенных Штатах, где эта латентная патология получила профессиональную огранку и превратилась в высокотехнологичное оружие разрушения человеческих душ.

Но теперь у Павла было главное — он понял структуру личности Дворкина. Он нашел ту скрытую пружину, которая приводила в движение весь этот гигантский механизм террора. И он был готов идти до конца, чтобы спасти своего сына от этого «ангела смерти» в профессорской мантии.

Глава 5. Американский инкубатор

Дорога к архиву Института США и Канады на Хлебном переулке заняла больше времени, чем рассчитывал Павел. Февральская оттепель превратила московские переулки в сплошное месиво из талого снега и реагентов. Машина то и дело буксовала в глубоких колеях, а дворники с надрывным скрипом размазывали по стеклу серую водно-солевую взвесь.

Павел припарковал автомобиль у старинного особняка с облупившейся лепниной. В его портфеле лежала папка с первыми набросками психологического профиля Александра Дворкина. Предыдущие этапы расследования — детство в Сокольниках, инцидент на стройке, работа санитаром в реанимации — сложились в тяжелую, но клинически понятную картину. Однако в этой картине зиял огромный пробел длиной почти в пятнадцать лет. Период с 1977 по 1991 год, когда субъект находился в эмиграции в США.

Павел понимал, что не может ограничиваться лишь чтением официальных биографий. Ему нужны были первоисточники, не подвергшиеся позднейшей цензуре и ретушированию. Именно поэтому он договорился о встрече с Львом Самойловичем Гуревичем, пожилым социологом, который в конце семидесятых

годов занимался исследованием адаптации советских эмигрантов третьей волны и до сих пор числился почетным сотрудником института.

Лев Самойлович, сухощавый мужчина лет восьмидесяти в поношенном твидовом пиджаке с заплатками на локтях, встретил Павла в небольшом кабинете, заваленном стопками пожелтевших журналов и папок-скоросшивателей.

— Проходите, коллега, проходите, — Лев Самойлович жестом указал на свободный стул, заваленный книгами, предварительно переложив их на подоконник. — Психиатры у нас редкие гости. Обычно все больше политологи да историки приходят. Но ваш запрос меня заинтриговал. Проект «Recent Soviet Immigrants in America»... О, это была монументальная работа Колумбийского университета. Мы тогда пытались понять, что происходит в головах у людей, вырвавшихся из-за железного занавеса.

— Мне нужны материалы интервью 1979 года, — Павел сел, не снимая пальто, лишь расстегнув его. — Конкретно — стенограмма беседы с Александром Дворкиным. Ее проводила Линн Виссон.

Гуревич прищурился, протирая очки краем пиджака.

— Помню, помню эту серию интервью. Линн тогда проделала колоссальную работу. Эмигранты ведь были очень разными. Кто-то уезжал за свободой, кто-то за колбасой, кто-то бежал от уголовного преследования. Но Дворкин... Да, его стенограмма у меня есть. Я нашел ее в наших закрытых фондах обмена. Держите.

Он протянул Павлу плотную папку из серого картона. Внутри лежали отпечатанные на гектографе листы на английском языке с рукописными пометками на полях. Павел, прекрасно владевший английским, углубился в чтение, а Лев Самойлович тихонько потягивал чай из граненого стакана в подстаканнике, не мешая гостю.

Стенограмма интервью, датированная октябрём 1979 года, представляла собой уникальный человеческий документ. Двадцатичетырехлетний Александр Дворкин, находившийся в США чуть больше двух лет, отвечал на вопросы Линн Виссон. Но за сухими строчками вопросов и ответов Павел, как опытный клиницист, мгновенно разглядел глубочайший личностный кризис и нарастающую деструктивную динамику.

В тексте интервью сквозило глубокое, почти физиологическое презрение к советскому обществу, из которого Дворкин только что вырвался. Он описывал

жизнь в СССР как «серое, бессмысленное прозябание среди полуживотных». Но одновременно с этим — и это поразило Павла больше всего — в его словах звучала столь же глубокая, ядовитая обида на американскую реальность.

Дворкин жаловался на все. На то, что американцы «глупы, поверхностны и заиклены на деньгах». На то, что его уникальный интеллектуальный потенциал никто не ценит. На то, что ему приходится работать на низкооплачиваемых, грязных работах — копировщиком, курьером, разнорабочим. Его это, раздутое до невероятных размеров в маргинальной московской тусовке, где он изображал из себя «непризнанного гения» и «жертву режима», в Нью-Йорке столкнулось с равнодушием огромного мегаполиса.

«Они не понимают, кто я, — говорил Дворкин в интервью, и Линн Виссон зафиксировала его раздраженный, прерывистый тон. — Здесь все измеряется долларами. Мой духовный опыт, мои страдания в России — для них это просто экзотическая сказка. Они смотрят на меня как на дикаря, который должен радоваться тому, что ему разрешили мыть их туалеты».

Павел сделал пометку в своем блокноте: *«Острая нарциссическая декомпенсация. Субъект не способен адаптироваться к горизонтальной структуре американского общества, где авторитет нужно завоевывать реальными достижениями, а не симуляцией исключительности. Возникает острая потребность в новой вертикальной системе, которая вернула бы ему чувство превосходства».*

— Обратите внимание на его социальную траекторию в этот период, — тихо произнес Лев Самойлович, заметив, что Павел закончил читать первый блок. — Он ведь не остался в этой маргинальной среде. Он совершил поразительный маневр. Из бродяги и неудачника он вдруг превращается в студента престижной Свято-Владимирской православной семинарии в Нью-Йорке.

— Да, — Павел перевернул страницу. — Он меняет маску. Грязные джинсы хиппи и статус «политического беженца» больше не приносят дивидендов. Ему нужна новая, респектабельная броня. И он находит ее в религии. Но не в живой вере, а в институте.

Павел исследовал этот переход по документам. В семинарии Дворкин оказался под крылом выдающихся богословов — Александра Шмемана и Иоанна Мейендорфа. Для молодого эмигранта это был колоссальный социальный лифт. Он быстро понял правила игры. Научился говорить на правильном языке,

демонстрировать глубокое смирение перед авторитетами, аккуратно подстриг бороду, надел чистый пиджак.

Но под этой маской респектабельного бакалавра богословия продолжал жить все тот же холодный манипулятор. Семинария стала для него идеальным инкубатором. Здесь он изучал не столько догматику, сколько схему власти внутри церковных структур. Он анализировал психологию верующих с тем же холодным, исследовательским любопытством, с каким когда-то наблюдал за агонией пациентов в 67-й больнице. Он понял, как работает иерархия, где находятся ее уязвимые места, как страх перед грехом и жажда спасения могут стать инструментами тотального контроля над личностью.

— Но богословие — это лишь половина дела, — Павел закрыл папку и посмотрел на Гуревича. — Лев Самойлович, в ваших архивах есть материалы по американскому антикультовому движению конца семидесятых — начала восьмидесятых годов? Конкретно — по организации CAN, Cult Awareness Network?

Старик нахмурился, его лицо стало серьезным.

— CAN... Да, конечно. Это очень темная страница американской истории. Они начинали как общественное движение родителей, чьи дети попали в различные нетрадиционные религиозные группы — тогда, после трагедии в Джонстауне в семьдесят восьмом году, в Америке была настоящая паника. Но очень быстро эта организация превратилась в коммерческое предприятие, использовавшее откровенно криминальные методы.

Гуревич поднялся, подошел к одному из шкафов и достал толстую папку с вырезками из американских газет и судебных отчетов.

— Они называли это «депрограммированием», — продолжал он, возвращаясь к столу. — Но на самом деле это было обычное насилие. Члены CAN за огромные деньги — родственники жертв платили им десятки тысяч долларов — нанимали так называемых «депрограмматоров». Эти люди выслеживали членов религиозных групп, похищали их, заталкивали в фургоны, увозили в глухие загородные мотели или на фермы и там неделями подвергали жесточайшему психологическому и физическому давлению.

Павел открыл папку и начал просматривать документы. Перед его глазами предстал конкретный микро-кейс, зафиксированный в судебных материалах штата Нью-Джерси за 1982 год.

Это было дело Сьюзан Мерфи, двадцатидвухлетней девушки, которая присоединилась к одной из нетрадиционных христианских общин. Ее родители, напуганные пропагандой CAN, наняли группу депрограмматоров во главе с известным активистом Галеном Келли.

В отчете шерифа подробно описывались обстоятельства похищения:

«...Субъект Сьюзан Мерфи была заблокирована тремя мужчинами в масках на выходе из супермаркета в пригороде Трентона. Ее насильно затолкнули на заднее сиденье минивэна Dodge, связали руки пластиковыми стяжками и надели на голову плотный мешок. В течение шести дней ее удерживали в подвальном помещении частного дома в лесистой местности. Субъекту не давали спать, лишали пищи и воды, подвергали непрерывному вербальному давлению со стороны депрограмматоров, которые требовали от нее отречься от своих религиозных убеждений. В ходе операции использовались методы психологического террора, включая демонстрацию фотографий изувеченных тел и угрозы физической расправы...»

Павел читал эти строки, и у него перехватывало дыхание. Это было прямое, неприкрытое насилие, осуществляемое под лозунгом «спасения». И самое страшное заключалось в том, что Александр Дворкин, вращавшийся в этих кругах в конце семидесятых и восьмидесятых годах, полностью впитал эту методологию.

Павел открыл на своем ноутбуке файл с выписками из более поздних трудов Дворкина. Он нашел цитату из его книги «Сектоведение», изданной в Нижнем Новгороде в 2005 году. Дворкин не просто знал об этих методах — он их открыто оправдывал:

«Но если есть программирование, появилось и депрограммирование, под которым часто подразумевалось насильственное похищение сектанта (если не удавалось вырвать жертву из сектантской среды иным способом) и удержание в изолированном месте, где его в течение долгих дней или даже недель пытались переубедить специалисты-психологи и бывшие члены сект... Иной раз гнев на похитивших его людей лишь ожесточал сектанта, его сопротивление от этого возрастало, и ему удавалось сбежать. ...В общем, метод «клин клином вышибает» оказался в данном случае совсем не подходящим. Но вряд ли человек, имеющий сердце и совесть, станет осуждать родителей, от отчаяния прибегнувших к депрограммированию...»

Павел перечитал последнюю фразу дважды. *«Но вряд ли человек, имеющий сердце и совесть, станет осуждать родителей, от отчаяния прибегнувших к депрограммированию...»*

— Вы понимаете, что это значит, Лев Самойлович? — Павел посмотрел на социолога. — Он называет людей, которые похищают взрослых граждан, связывают их, лишают сна и подвергают пыткам, «людьми с сердцем и совестью». Для него насилие — это легитимный инструмент, если оно направлено на тех, кого он сам назначил «жертвами программирования». Это же чистая психопатическая рационализация. Он берет криминальную практику американских социопатов из CAN и превращает ее в моральный долг.

— Да, — согласился Гуревич, помрачнев. — CAN в итоге плохо закончила. В девяностых годах их затаскали по судам. После дела Джейсона Скотта, которого они похитили и пытались депрограммировать с особой жестокостью, федеральный суд приговорил организацию к огромному штрафу, что привело к их банкротству в 1996 году. Было доказано, что в CAN состояли садисты, маньяки и люди с выраженными антисоциальными наклонностями, которые просто нашли легальный способ удовлетворять свою жажду насилия. Но Дворкин к тому времени уже уехал из США. Он успел вывезти эти методики до того, как лавочку прикрыли.

Павел поблагодарил Льва Самойловича, бережно сложил копии документов в портфель и вышел на улицу. Дождь сменился колючим, мелким снегом. Ветер дул в лицо, но Павел не замечал холода. Его разум работал на пределе возможностей.

Он сел в машину, включил обогрев и открыл ноутбук. Ему нужно было зафиксировать еще одну важнейшую деталь американского периода, которая окончательно сформировала идеологическую матрицу Дворкина.

Трагедия в Уэйко. 1993 год.

Хотя в 1993 году Дворкин уже делал первые шаги на церковном поприще в России, его связь с США оставалась неразрывной. События на ранчо «Маунт Кармел» в Техасе, где после пятидесятиоднодневной осады агентами ФБР и ATF в огне погибли 76 членов религиозной группы «Ветвь Давидова» (включая более двадцати детей), стали для мирового сообщества шоком и примером чудовищной ошибки спецслужб.

Но для Дворкина это событие стало моментом истины.

Павел начал искать ранние публикации Дворкина, посвященные трагедии в Уэйко. И он нашел то, что искал — текст его выступления на закрытом семинаре для сотрудников правоохранительных органов в Москве в конце 1993 года. Этот документ, чудом сохранившийся в ведомственных архивах, показывал, как именно Дворкин использовал американскую трагедию для запугивания российских чиновников.

«...События в Уэйко наглядно демонстрируют, что любая нетрадиционная религиозная группа — это спящая ячейка терроризма, готовая в любой момент совершить массовое самоубийство или развязать войну против государства, — вещал Дворкин с трибуны. — Вступать с ними в переговоры, пытаться апеллировать к закону — это смертельная ошибка. Единственный язык, который они понимают — это язык абсолютной, превентивной силы. Государство должно уничтожать эти структуры на стадии их зарождения, не дожидаясь, пока они построят свои крепости...»

Павел откинулся на подголовник сиденья.

— Какая чудовищная подмена понятий, — прошептал он.

Вместо того чтобы проанализировать реальные причины трагедии — паранойю лидера группы Дэвида Кореша, помноженную на некомпетентность и агрессию федеральных агентов, которые использовали танки и слезоточивый газ против деревянного здания с детьми, — Дворкин сделал однозначный вывод: виноваты всегда «секты», и их нужно давить превентивно.

Это был ключевой элемент его будущей системы. Он понял, что страх — это самый ликвидный товар на рынке государственной безопасности. Если напугать власть имущих призраком «нового Уэйко», они добровольно отдадут ему в руки любые полномочия, подпишут любые экспертизы и закроют глаза на любые нарушения закона.

Павел открыл файл профиля и начал быстро печатать, формулируя выводы по «Американскому инкубатору»:

«Период пребывания субъекта в США (1977–1991 гг.) характеризуется окончательным оформлением его социальной маски и инструментария.

1. Нарциссический кризис конца 70-х годов, зафиксированный в интервью Линн Виссон, привел к отказу от маргинальной идентичности (“Саша-Длинный”) и принятию институциональной маски (“Бакалавр богословия”).

Субъект понял, что религиозный институт предоставляет идеальное прикрытие для его потребности в доминировании.

2. Интеграция в структуры американского антикультового движения (CAN) позволила субъекту освоить и легитимизировать методы психологического и физического насилия (“депрограммирование”). Он усвоил ключевую концепцию CAN: объявление жертвы “беспомощной, лишенной воли” оправдывает любые формы насилия по отношению к ней.

3. Трагедия в Уэйко (1993) послужила катализатором для создания концепции “превентивного подавления”. Субъект осознал, что трансляция экзистенциального страха перед “сектантской угрозой” позволяет манипулировать государственным аппаратом, превращая личную вендетту в официальную доктрину безопасности».

Павел закрыл ноутбук. В салоне машины стало тепло, но его бил озноб. Он посмотрел на часы — было уже около семи вечера. Пора возвращаться домой, к Илье.

Дома было тихо. Илья лежал в своей комнате, уставившись в потолок. На кухонном столе лежала нетронутая тарелка с едой, которую Павел приготовил ещё утром.

Павел сел на край кровати сына и мягко коснулся его плеча. Илья вздрогнул, его глаза, окруженные темными кругами от хронического недосыпа, посмотрели на отца с немым вопросом.

— Как ты, сынок? — тихо спросил Павел.

— Папа... — голос Ильи был хриплым, едва слышным. — Они сегодня звонили из банка. Сказали, что моя заявка на разблокировку счета отклонена. Без объяснения причин. И еще... мне прислали письмо из научного общества. Мой доклад аннулирован. Они написали, что «в связи с возникшими сомнениями в академической честности автора»... Папа, но я же сам делал все анализы! Я каждую пробу воды лично отбирал! Почему они мне не верят?

Илья отвернулся к стене, его плечи мелко задрожали. Он не плакал — у него просто не осталось сил на слезы. Это была та самая стадия психологического надлома, когда жертва начинает сомневаться в собственной адекватности, когда весь мир вокруг превращается в сплошную, враждебную стену.

Павел сжал зубы. Он видел, как работает эта система. Это было то самое «депрограммирование», только растянутое во времени и пространстве. Илью не нужно было похищать и запираť в подвале, как Сьюзан Мерфи в 1982 году. Современные технологии позволяли сделать это дистанционно. Заблокировать счета, лишить академического статуса, заставить коллег отвернуться — и человек сам оказывается в ментальном подвале, лишенный воли к сопротивлению.

«Они делают с ним то же самое, — подумал Павел, глядя на худую спину сына. — Они выжигают в нем личность, чтобы он признал себя виновным в том, чего не совершал. Чтобы он сломался и приполз на коленях просить прощенья у системы».

Павел поднялся, вышел на кухню и включил настольную лампу. Он достал из портфеля распечатанную стенограмму интервью Дворкина 1979 года.

Он положил ее рядом с экспертным заключением против Ильи.

Два документа, разделенные годами. В одном молодой, озлобленный эмигрант жалуется на то, что мир не ценит его величие. В другом — тот же человек, но уже облеченный властью и авторитетом, методично уничтожает жизнь молодого ученого, посмевшего заняться реальной наукой без его высочайшего соизволения.

Павел взял маркер и провел жирную красную линию на своей рабочей доске, соединяя карточку «США: ИНКУБАТОР» с карточкой «ЭКСПЕРТИЗА ИЛЬИ».

Он понял, что время уговоров и законных процедур окончательно прошло. Он столкнулся с хищником, который оттачивал свои методы десятилетиями в лучших американских лабораториях страха и насилия. И чтобы победить его, нужно было найти то, что сам Дворкин так тщательно скрывал за своей респектабельной маской бакалавра богословия.

Павел открыл следующую папку с архивными материалами. Его взгляд зацепился за странную, пугающую закономерность, которая прослеживалась на протяжении всего американского периода жизни его оппонента. Черда смерти. Смертей людей, которые стояли на его пути или, наоборот, помогали ему подняться.

Павел почувствовал, как волосы на его руках встали дыбом. Это не могло быть простым совпадением.

Он взял чистый стикер, написал на нем: *«Шлейф смертей: наставники»* — и прикрепил его в самый центр своей карты расследования. Наступало время

заглянуть в самую темную, мистическую бездну личности человека, который объявил войну его семье.

Глава 6. Смерть наставников

Февральский вечер опускался на Москву, укутывая переулки вокруг Донского монастыря тяжелым, влажным туманом. Талый снег под ногами превратился в серую кашу, в которой тонули редкие огни фонарей. Павел шел медленно, подняв воротник пальто. В этом старом районе города, где время словно замедлило свой ход, тишина казалась почти осязаемой. Она контрастировала с тем внутренним напряжением, которое не отпускало его последние недели.

Его расследование вышло на новый этап. Изучив московскую юность своего оппонента и его первые шаги в реанимации 67-й больницы, Павел понял, что для воссоздания полного профиля ему необходимо детально исследовать американский период жизни Александра Дворкина. Но не сухие даты получения дипломов или официальные вехи его карьеры интересовали психиатра. Его внимание привлекла странная, пугающая закономерность, которая прослеживалась на протяжении всех лет пребывания Дворкина в США и его последующего возвращения в Россию.

Шлейф смертей.

Каждый раз, когда будущий профессор приближался к очередной вершине власти или признания, человек, который выступал его покровителем, наставником или «ключом» к новым возможностям, скоростижно уходил из жизни. И каждый раз Дворкин оказывался в непосредственной близости к умирающему, фиксируя его угасание с поразительной, почти протокольной детальностью.

Чтобы проверить эту гипотезу, Павел договорился о встрече с человеком, который мог пролить свет на скрытую сторону жизни православной эмиграции в США. Протоиерей Георгий Давыдов, ныне пребывающий на покое, в восьмидесятих годах служил в одном из приходов Православной Церкви в Америке и лично знал многих ключевых фигур того времени. Сейчас он жил в небольшой квартире в одном из тихих переулков близ Шаболовки.

Павел поднялся на четвертый этаж старого кирпичного дома. Дверь открыл невысокий, сухощавый старик в темном подряснике. Его седая борода была аккуратно подстрижена, а умные, глубоко посаженные глаза смотрели на гостя с мягкой проницательностью.

— Проходите, Павел Петрович, — негромко произнес отец Георгий, отступая в глубь прихожей. — Чай уже готов. Рад, что вы добрались в такую непогоду.

На стенах в квартире висели потемневшие от времени иконы и фотографии известных церковных деятелей эмиграции. Они сели за круглый стол на кухне. Отец Георгий разлил крепкий чай по чашкам и пододвинул к Павлу вазочку с сушками.

— Вы спрашивали меня в письме о Свято-Владимирской семинарии и о Саше Дворкине, — начал священник, глядя на пламя свечи, горевшей перед иконой в углу. — Знаете, это были особые годы. Время надежд, но и время больших искушений. Семинария под руководством отца Александра Шмемана была интеллектуальным и духовным центром. Но Саша... он всегда стоял особняком. В нем чувствовалась какая-то надломленность, которую он пытался скрыть за показной активностью.

Павел достал из портфеля блокнот, но не спешил делать записи.

— Отец Георгий, мне удалось получить некоторые документы того периода. Но мне важно понять атмосферу. Как к нему относились наставники? Отец Александр Шмеман, отец Иоанн Мейендорф?

Священник тяжело вздохнул и опустил глаза.

— Они были великими пастырями, Павел Петрович. И, как все великие люди, они были очень милосердны. Иногда — чрезмерно милосердны. Саша пришел к ним как кающийся грешник, как жертва советского режима, пострадавшая за убеждения. Они поверили ему, приняли, дали кров и образование. Но очень скоро среди духовенства начало расти беспокойство. Саша обладал удивительной способностью сеять вокруг себя атмосферу подозрительности и раздора. Он выискивал слабости людей, фиксировал их и использовал в своих целях.

Отец Георгий поднялся, подошел к старому комоду и достал оттуда пожелтевшую папку-скоросшиватель.

— Я сохранил некоторые письма тех лет. Это личная переписка нашего эмигрантского духовенства. Мы часто делились друг с другом тревогами, которые не принято было выносить на публику. Посмотрите вот на это письмо.

Он протянул Павлу лист тонкой папиросной бумаги, покрытый машинописным текстом на русском языке с характерными дореволюционными ятями, которые некоторые эмигранты продолжали использовать по привычке. Это было письмо отца Михаила Ковача, служившего в штате Нью-Джерси, адресованное отцу Иоанну Мейендорфу, датированное 14 сентября 1987 года.

Павел начал читать, вглядываясь в блеклые фиолетовые буквы:

«...Дорогой отец Иоанн, не могу не поделиться с Вами глубокой тревогой касательно молодого Александра Дворкина, коего Вы столь щедро опекаете. В последнее время от прихожан храма Святой Троицы поступают жалобы на его странное и, дерзну сказать, деструктивное влияние на приходскую жизнь. Александр пытается установить некий негласный надзор над духовной жизнью молодых прихожан. Он внушает им мысли о постоянной опасности, о скрытых врагах внутри Церкви, требует от них отчетов о личных разговорах и помыслах. Его манера общения лишена христианского милосердия; в ней сквозит жесткое желание контролировать чужую волю под видом заботы о чистоте веры. Боюсь, что его собственная душевная неустроенность и пережитые им в юности невзгоды не уврачеваны, но лишь приняли форму опасного духовного властолюбия. Умоляю Вас, проявите осторожность...»

Павел перевернул страницу. Там было еще одно письмо, написанное отцом Димитрием из Сан-Франциско, в котором выражалось опасение, что Дворкин пытается создать внутри приходов «систему взаимного доносительства и слежки, маскируя это борьбой с ересями».

— Видите, — тихо сказал отец Георгий, возвращаясь за стол. — Они видели это. Но отец Иоанн Мейендорф, а до него отец Александр Шмеман, верили, что богословское образование и церковная дисциплина смогут исправить этот дефект характера. Они не понимали, что имеют дело с патологией, которая не лечится проповедями.

Павел кивнул. Как психиатр, он прекрасно понимал клиническую картину. Перед ним были классические свидетельства деструктивного влияния субъекта с выраженным личностным расстройством на социальную группу. Психопат не способен к горизонтальным, партнерским отношениям. Любое сообщество он

пытается перестроить в жесткую вертикаль, где он сам занимает позицию контролера и судьи.

Но самым страшным было то, как эта патология реагировала на реальные авторитеты.

Вернувшись домой, Павел сел за свой рабочий стол. В соседней комнате тихо спал Илья. Его дыхание было неровным, прерывистым — последствия пережитого стресса и социальной изоляции продолжали отравлять его сон. Павел открыл на ноутбуке текст автобиографической книги Александра Дворкина «Моя Америка» и положил рядом свои клинические записи.

Он начал сопоставлять факты.

Первым крупным авторитетом на пути Дворкина в США стал протопресвитер Александр Шмеман — декан Свято-Владимирской семинарии, человек колоссального личного обаяния и непререкаемого авторитета. Шмеман был духовником Дворкина. Согласно академическим правилам, молодой студент был обязан регулярно приходить к нему на исповедь.

Павел открыл главу книги, посвященную Шмеману, и вчитался в строки, где Дворкин описывает высказывание декана, сделанное за год до его поступления:

«Я не потерплю, чтобы академия превратилась в притон для наркоманов и гомосексуалистов!»

Для Дворкина, который к моменту поступления имел за плечами многолетний опыт употребления психоактивных веществ и вращения в маргинальной среде, эти слова должны были прозвучать как прямой экзистенциальный вызов. Человек, от которого полностью зависела его судьба в США, открыто декларировал нулевую толерантность к тому образу жизни, который Дворкин вел в Москве.

Возник глубочайший внутренний конфликт. С одной стороны, Дворкин был вынужден изображать смирение и послушание, регулярно раскрывая свои помыслы на исповеди человеку, который вызывал у него подсознательный страх и раздражение. С другой стороны, его злокачественный нарциссизм требовал реванша. Он не мог смириться с тем, что кто-то обладает над ним такой абсолютной моральной властью.

И тогда вмешалась судьба. Или не только судьба?

В 1982 году у отца Александра Шмемана диагностируют агрессивную форму рака. Он угасает в течение года. И именно в этот период Дворкин, согласно его собственным воспоминаниям, сближается с умирающим ректором. Он становится заместителем главного алтарника, присутствует на всех богослужениях, помогает Шмеману облачаться, когда у того уже не остается сил.

Павел обратил внимание на то, как именно Дворкин описывает этот период в своей книге. В его тексте сквозит странная, амбивалентная динамика. Он демонстративно выражает уважение, но одновременно с этим методично, абзац за абзацем, фиксирует физическую немощь своего учителя.

«Его внутренняя сила выражалась, в том числе, в самостоятельности: он делал всё сам и весьма ценил, и оберегал своё личное пространство, пространство его личной жизни и личной неприкосновенности. И вот его постигла смертельная болезнь и изматывающее лечение, приносящее тяжёлые физические страдания и резкий упадок сил. Без помощи, даже банальной физической поддержки других людей он уже не мог обойтись».

Павел подчеркнул эти строки красным карандашом.

— Это не взгляд скорбящего ученика, — прошептал он. — Это взгляд триумфатора.

Для нарциссической личности физическое угасание авторитета — это момент глубочайшего внутреннего удовлетворения. Тот, кто казался недостижимой скалой, кто грозил изгнанием и требовал отчета в грехах, теперь беспомощен. Он зависит от помощи вчерашнего слабого студента. Роли поменялись. Дворкин фиксирует это «бессилие» с почти сладострастным вниманием. Великий Шмеман низведен до состояния ребенка, а Дворкин возвышается над ним, здоровый, сильный и контролирующий ситуацию.

Но Шмеман был лишь первым в этом ряду.

После его кончины в декабре 1983 года пост декана занимает отец Иоанн Мейендорф. Дворкин мгновенно переориентируется на нового лидера. Он просит Мейендорфа стать его духовным отцом. Именно Мейендорф дает ему рекомендации в докторантуру Фордхэмского университета, именно он фактически строит его академическую карьеру.

И снова повторяется тот же паттерн.

В 1992 году Дворкин решает вернуться в Россию. Мейендорф дает ему рекомендательное письмо в Москву, открывающее двери в Отдел религиозного образования Московского Патриархата. Это назначение делает Дворкина ключевой фигурой в зарождающемся антикультовом движении. Его социальный статус стремительно растет.

И в этот самый момент Иоанн Мейендорф внезапно заболевает.

Павел открыл главу книги «Моя Америка», посвященную Мейендорфу. Его внимание привлек поразительный композиционный прием, который использовал автор. Рассказ об отце Иоанне Дворкин начинает с подробного пересказа исторической легенды о смерти Папы Климента II, который, согласно преданию, был отравлен ядом, подмешанным в евхаристическую чашу во время путешествия.

Зачем автору автобиографии начинать главу о своем любимом учителе и духовном отце с детального описания средневекового отравления через священный сосуд?

С точки зрения поведенческого анализа, это классическая нарративная проекция. Психопат часто испытывает потребность оставить «подпись» или намек на свои истинные действия, маскируя их под исторические анекдоты или отвлеченные рассуждения. Это дает ему чувство интеллектуального превосходства над читателем, который не способен разгадать скрытый смысл.

Далее в тексте Дворкин описывает смерть Мейендорфа:

«Уже в Москве отец Иоанн почувствовал себя плохо. Когда он вернулся, самочувствие его еще больше ухудшилось, и он обратился к врачу. Вообще-то, он никогда особенно не жаловался на здоровье. Даже в пожилом возрасте особых болезней у него не было».

Мейендорф, никогда не жаловавшийся на здоровье, сгорает от рака поджелудочной железы всего за несколько месяцев после своей поездки в Россию и встреч с Дворкиным.

Павел откинулся на спинку кресла, чувствуя, как холодный пот выступает на лбу. Он вспомнил еще одно имя, упомянутое в книге — профессор Сергей Верховской, один из ведущих богословов семинарии, который также критически относился к Дворкину. Верховской умирает вскоре после того, как Дворкин начинает за ним ухаживать: *«Через день мы дежурили у профессора, убирали и готовили для него».*

Три смерти великих учителей в США. Три человека, которые знали о Дворкине слишком много, которые видели его истинное лицо за маской благочестия и обладали достаточным авторитетом, чтобы в любой момент разрушить его карьеру одним словом. И все трое уходят из жизни от тяжелых, быстротечных заболеваний, оставляя Дворкина единственным «наследником» их авторитета.

Но на этом шлейф не заканчивался.

Вернувшись в Россию в 1992 году, Дворкин не имел связей в высших церковных кругах Москвы. Ему нужен был новый покровитель, человек-ключ, который легализовал бы его в новой системе. И таким ключом стал протоиерей Глеб Каледа — фронтовик, ученый-геолог, доктор наук, человек с безупречной репутацией, возглавлявший сектор в Синодальном отделе.

Каледа берет Дворкина под свое крыло. Они работают бок о бок два с половиной года. Дворкин получает доступ к ресурсам Патриархии, начинает публиковаться, его имя становится известным.

И 1 ноября 1994 года Глеб Каледа скоропостижно умирает. Диагноз — рак.

Павел нашел статью Дворкина «Об отце Глебе Каледѣ». Текст был написан в той же характерной манере нарративного позиционирования. Автор настойчиво подчеркивает свою исключительную, почти интимную близость к покойному в самые критические моменты его жизни:

«Я виделся с ним почти ежедневно, ездил с ним в командировки, был рядом с ним при начале его тюремного служения... Я видел отца Глеба в разных обстоятельствах: в тюрьме и на официальных приемах, в горах и на берегу моря, в центре больших городов и в лесах, на море, на суше и в воздухе. Я видел его с самыми разными людьми: с Патриархом и с отъявленным атеистом и сталинистом, с премьер-министром Греции и с заключенными, с видными учеными и таксистами, с мужчинами и женщинами, взрослыми и детьми».

И далее — описание кончины:

«Смерть батюшки была идеальной христианской кончиной, безболезненной, непостыдной... Мы не знаем, что, скрытое от наших глаз, было явлено ему в эти последние минуты».

Павел закрыл ноутбук и потер виски. Картинка сложилась с пугающей четкостью.

Как клинический психиатр, он провел синдромальный анализ этого паттерна.

Субъект страдает тяжелой формой злокачественного нарциссизма в сочетании с антисоциальным расстройством личности. Для такой структуры характера существование внешних авторитетов — особенно тех, кто выступает в роли «морального зеркала» — является постоянным источником невыносимого когнитивного диссонанса. Эти люди напоминают ему о его собственной дефектности, о его лжи, о его прошлом. Они заставляют его подчиняться, играть роль ученика, просить прощения.

Психопат физически не способен долго переносить это давление. Возникает острая, латентная агрессия. Но совершить открытое преступление он не может — слишком велик риск потерять с трудом завоеванный социальный статус. И тогда включается механизм латентного устранения.

Павел вспомнил свои годы работы в токсикологическом отделении, куда иногда поступали пациенты с нетипичными отравлениями. Существуют десятки веществ, которые при систематическом введении в малых дозах не вызывают мгновенной смерти, но провоцируют системный отказ органов или стимулируют быстрое развитие онкологических процессов, имитируя естественные заболевания. Человек, имеющий опыт работы в реанимации и глубокие познания в фармакологии, прекрасно знал об этих возможностях.

Но даже если оставить в стороне гипотезу о прямом физическом воздействии, психологический аспект этой драмы был очевиден.

Каждая смерть наставника воспринималась Дворкиным как акт мистического освобождения и подтверждение его собственной «избранности». В его искаженном восприятии Бог лично устранял тех, кто стоял на его пути, расчищая ему дорогу к власти. Он смаковал их смерть, потому что она доказывала его превосходство. Они умерли — а он жив. Они, великие и праведные, оказались бессильны перед болезнью, а он, бывший бродяга и изгой, стоит над их могилами и вещает от их имени.

Это был его бунт против Бога. Уничтожая «моральные зеркала» на земле, он доказывал самому себе, что никакого высшего суда не существует. Что небо — пустое. И если небо пусто, значит, он сам может занять место судьи.

Сразу после смерти Глеба Каледы в ноябре 1994 года Дворкин остается без какого-либо контроля. Он наследует его статус, становится главным экспертом Патриархии по «сектоведению» и начинает разворачивать свою сеть по всей стране. Дверь во власть открылась.

Павел встал из-за стола и подошел к окну. Дождь за стеклом утих, но туман стал еще гуще, скрывая очертания соседних домов.

Он посмотрел на свою рабочую доску, где на карточке с именем Александра Дворкина теперь сходились четыре линии от имен его погибших учителей: Шмеман, Мейендорф, Верховской, Каледа.

Это был профиль человека, который шел к своей цели по телам тех, кто пытался ему помочь. И сейчас этот человек, вооруженный государственным ресурсом и псевдонаучными экспертизами, стоял над его сыном Ильей, готовый сделать следующий, привычный для себя шаг — столкнуть очередную жертву на дно строительной ямы, чтобы в очередной раз насладиться своим абсолютным, безнаказанным всемогуществом.

Павел сжал кулаки. Он понял, что времени почти не осталось. Машина уничтожения уже запущена, и чтобы остановить ее, нужно было действовать на ее собственной территории — там, где Дворкин чувствовал себя в полной безопасности, прикрываясь министерскими кабинетами и церковными амвонами. Расследование требовало перехода к анализу того, как этот латентный садизм превратился в официальную государственную индустрию страха.

Глава 7. Возвращение инквизитора

Влажный подмосковный воздух пах талым снегом, прелой листвой и выхлопными газами старых автобусов. Павел стоял у входа в районный дом культуры на окраине Мытищ, наблюдая, как мимо него проходят люди. Это были преимущественно женщины предпенсионного возраста в тяжелых зимних пальто, несколько растерянных молодых людей и хмурые мужчины с жесткими, настороженными лицами. На дверях ДК висела наспех распечатанная на принтере афиша: «Духовная безопасность современной семьи. Лекция-семинар». Внизу мелким шрифтом значилось: «При поддержке регионального отделения Центра религиоведческих исследований».

Павел поправил шарф и вошел внутрь. Ему нужно было увидеть это своими глазами. Одно дело — анализировать пожелтевшие архивные документы и сухие экспертные заключения в тишине своего кабинета, и совсем другое —

зафиксировать, как созданная Александром Дворкиным система работает непосредственно с человеческим сознанием здесь и сейчас. Физическое присутствие на таком мероприятии было необходимо для завершения клинического профиля.

Зал на втором этаже, рассчитанный мест на сто пятьдесят, был заполнен почти полностью. Павел прошел в самый конец и сел на свободное место в последнем ряду, стараясь не привлекать к себе внимания. На сцене, перед проекционным экраном, уже суетился молодой человек в строгом темном костюме. Его движения были резкими, порывистыми, а манера поправлять очки и откидывать назад прядь волос с поразительной точностью копировала жестикуляцию самого Дворкина, которую Павел часами изучал на видеозаписях.

— Здравствуйте, дорогие братья и сестры, — голос лектора, усиленный дешевыми колонками, разнесся по залу, заставив аудиторию мгновенно затихнуть. — Сегодня мы поговорим о той невидимой войне, которая ведется против наших семей, против наших детей. Многие из вас думают, что опасность далеко. Но она рядом. Она проникает в наши дома под видом невинных кружков йоги, психологических тренингов личностного роста и даже... экологических инициатив.

Павел внутренне напрягся при последнем слове. Он почувствовал, как в груди начинает нарастать глухой, контролируемый гнев, но заставил себя оставаться холодным наблюдателем. Он достал из кармана небольшой блокнот и начал делать пометки, фиксируя вербальные и невербальные маркеры оратора.

Лектор на сцене развернул первый слайд. На экране появились изображения различных символов, сваленных в одну кучу: от восточных мандал до эмблем международных экологических фондов.

— Обратите внимание, — продолжал выступающий, его голос приобрел характерную обвинительную, почти инквизиторскую интонацию. — Все эти группы используют схожие методы. Они находят слабых, сомневающихся молодых людей, обещают им спасение планеты или духовное просветление, а на самом деле — полностью разрушают их личность, подчиняя своей воле. Это тоталитарные секты. Это деструктивные культы, цель которых — оторвать наших детей от традиционных ценностей, от семьи, от государства.

Павел наблюдал за реакцией зала. Люди слушали, затаив дыхание. На лицах многих женщин проступал искренний, глубокий страх. Лектор умело манипулировал этим страхом, нагнетая атмосферу экзистенциальной угрозы. Он

не приводил научных фактов, не ссыался на социологические исследования. Его речь строилась на эмоциональном давлении, на создании образа абсолютного, вездесущего врага.

В какой-то момент в середине зала поднялся немолодой мужчина в очках, судя по виду — местный школьный учитель или инженер.

— Простите, — негромко произнес он, — но разве можно ставить в один ряд откровенно криминальные группы и, например, студенческие научные кружки, которые занимаются охраной природы? Мой племянник состоит в таком объединении, они просто убирают мусор в лесу и исследуют воду...

Лектор на сцене мгновенно преобразился. Его мягкая, пастырская улыбка исчезла, уступив место холодной, агрессивной маске. Он сделал шаг вперед, нависая над трибуной.

— Вот! — громко выкрикнул он, указывая пальцем на мужчину. — Перед нами классический пример того, как работает манипуляция! Именно так они и прикрываются — «исследованием воды», «очисткой леса». А вы уверены, что вашего племянника там уже не обработали? Вы уверены, что под видом анализа воды ему не внушают деструктивные идеи? Вы сейчас защищаете их, потому что сами находитесь под влиянием этой пропаганды! Подумайте об этом, пока не стало слишком поздно.

В зале раздался неодобрительный гул в адрес поднявшегося мужчины. Соседи начали коситься на него с подозрением и страхом. Мужчина растерянно огляделся, покраснел и поспешно сел, втянув голову в плечи. Он был мгновенно стигматизирован и подавлен коллективным давлением аудитории, направляемой лектором.

Павел зафиксировал этот микро-кейс в блокноте. Это была та же самая модель, которая в масштабах страны уничтожила Илью. Тот же метод мгновенного наклеивания ярлыка, лишаящий жертву возможности оправдаться. Любая попытка рационального спора объявлялась доказательством «влияния секты».

Павел тихо поднялся и вышел из зала. Ему больше не нужно было ничего доказывать себе здесь. Он увидел, как семена паранойи, посеянные тридцать лет назад, дали обильные, ядовитые всходы.

Вернувшись в свою московскую квартиру, Павел заперся в кабинете. На столе его ждали архивные материалы, которые он систематизировал последние дни.

Теперь, после посещения лекции, историческая хронология возвращения Александра Дворкина в Россию в начале 1990-х годов приобрела для него объем и предельную ясность.

Павел открыл папку с документами, относящимися к 1994 году. Это был переломный момент. После кончины протоиерея Глеба Каледы в ноябре того года внутренний баланс сил в церковной среде изменился, и у Дворкина появилось больше пространства для продвижения собственной антикультовой терминологии.

Павел видел в этих материалах не случайное совпадение, а точку поворота. После Архиерейского собора 1994 года антикультовый язык перестал быть частной публицистикой отдельных полемистов. Он получил церковную санкцию, вес официального определения и право звучать от имени высокой инстанции. Слова «псевдохристианские секты», «неоязычество», «окультизм», а вслед за ними и более жесткие формулы вроде «тоталитарных сект» и «деструктивных культов» начали жить собственной жизнью. Из церковных документов они постепенно перешли в лекции, экспертные заключения, журналистские тексты и кабинеты чиновников. Так язык богословского предупреждения шаг за шагом превращался в язык общественного подозрения.

Павел взял ручку и записал в блокнот: *«Лингвистическая диверсия 1994 года. Введение в официальный оборот терминов, не имеющих ни юридического, ни научного содержания».*

Как профессиональный психиатр, Павел прекрасно понимал, какую опасность несет в себе использование подобных дефиниций. Он открыл работу Игоря Кантерова и выписал мысль, которую считал ключевой:

«Расплывчатость понятий вроде “тоталитарная секта” и “деструктивный культ” позволяет при желании подвести под них почти любое религиозное, философское, культурное, образовательное или оздоровительное объединение. Такие ярлыки удобны именно потому, что создают эффект обвинения раньше, чем начинается доказательство».

— Именно так, — тихо произнес Павел. — Безразмерные объятия.

Дворкин создал идеальный лингвистический капкан. Термин «тоталитарная секта» не содержал в себе четких критериев. Под него можно было подвести абсолютно любую группу людей, чьи взгляды или деятельность не нравились

создателю этой терминологии. Это была не наука, это была технология символического насилия, получившая официальную санкцию.

Но для того чтобы эта технология заработала в полную силу, Дворкину требовался собственный инструмент — организация, которая могла бы действовать по всей стране, координируя преследования и поставляя «экспертные» материалы для силовых структур.

Этим инструментом стала Российская ассоциация центров изучения религий и сект (РАЦИРС), созданная под его непосредственным руководством.

Павел начал изучать структуру РАЦИРС, используя уставные документы, отчеты о деятельности региональных филиалов и публикации на их официальных ресурсах. Как психиатр, привыкший анализировать динамику, он быстро обнаружил поразительный феномен.

РАЦИРС была построена как классическая закрытая, авторитарная организация — по тем самым лекалам, в использовании которых она обвиняла своих оппонентов.

Павел нарисовал на листе бумаги схему структуры РАЦИРС. В центре находилась фигура самого Дворкина — несменяемого лидера, чьи суждения и оценки не подлежали сомнению или критике внутри ассоциации. Все региональные центры были подчинены центру в Москве. Информация циркулировала сверху вниз. Внутри организации царила строгая дисциплина и атмосфера осажденной крепости: любой член ассоциации, выразивший сомнение в методах работы руководства, немедленно объявлялся предателем или «агентом влияния сект» и с позором изгонялся.

Павел открыл сайт одного из активных деятелей этого движения, Виталия Питанова, где содержались методические рекомендации для региональных ячеек. Он вчитался в текст инструкции по эксплуатации этой модели и выписал цитату полностью:

«На секты нужно собирать компромат и его распространять! Хочу заметить, что этот подход без труда можно использовать против кого угодно — против православных мирян, священников и даже церковных иерархов. Мы живём в прозрачном обществе, и при желании компромат можно найти на кого угодно или же его придумать. Этот метод может в какой-то степени помочь в профилактике в том случае, когда удастся показать, что учение сект поощряет и одобряет такую

деятельность её последователей, которая с точки действующего законодательства является криминальной».

Павел отложил ручку.

— «Или же его придумать», — процитировал он вслух. — Они даже не скрывают этого.

Это была прямая инструкция по созданию клеветнических кампаний. Система РАЦИРС изначально создавалась не для поиска истины или научной классификации, а для сбора и фабрикации компромата. И этот метод, как откровенно признавал Питанов, мог быть использован против абсолютно любого человека — даже внутри самой церковной иерархии, если тот осмеливался проявить несогласие с линией Дворкина.

Павел перевернул страницу книги «Сектоведение» самого Александра Дворкина, которая служила главным учебным пособием для его адептов. Он нашел фрагмент, где автор описывает психологические особенности тех групп, с которыми ведет борьбу, и выписал его полностью:

«Так как все тоталитарные секты считают, что цель оправдывает средства, то все они ставят собственные интересы выше закона. Им всем присуща “двойная мораль” и “двойной стандарт”. Если их члены уверены, что цель, поставленная ими перед собой, “праведна” и “справедлива” (вернее было бы сказать: если их членам приказали считать поставленную перед ними цель “праведной” и “справедливой”. —А. Д.), они не остановятся перед тем, чтобы солгать, украсть, ввести человека в заблуждение, прибегнуть к контролированию сознания своих собратьев или, в конце концов, оклеветать должностных лиц и общественных деятелей, оказывающих им сопротивление, и даже физически устранить неудобного им человека (или группу лиц). По существу, мы имеем дело с мафиозными структурами, скованными железной дисциплиной и беспрекословным повиновением своему руководству».

Павел сравнил этот текст с инструкцией Питанова и структурой РАЦИРС. Сходство было абсолютным, зеркальным.

— Это классическая проекция, — констатировал Павел, делая запись на полях. — Психопат всегда приписывает свои собственные методы, мотивы и структуру мышления тем, кого он выбрал в качестве жертвы. Дворкин описал в своей книге не «секты». Он описал самого себя и созданную им организацию.

РАЦИРС функционировала именно как мафиозная структура, скованная железной дисциплиной и беспрекословным повиновением своему гуру. Для них цель — расширение собственного влияния и уничтожение оппонентов — полностью оправдывала любые средства, включая ложь, клевету и фабрикацию экспертиз. Они использовали двойные стандарты, объявляя любые зарубежные контакты своих жертв «шпионажем», в то время как сами активно пользовались международными связями. Именно этот финансовый аспект стал следующим объектом исследования Павла.

В своей публичной деятельности Александр Дворкин всегда позиционировал себя как бескомпромиссный патриот, защитник национальной безопасности России от «тлетворного влияния Запада» и «иностранных агентов». Он регулярно утверждал, что новые религиозные движения и общественные группы финансируются из-за рубежа с целью разрушения страны. Именно этот аргумент — получение скромного европейского гранта на покупку лабораторных фильтров — стал главным основанием для уничтожения научной карьеры Ильи.

Но Павел решил проверить, на какие средства существовал сам Дворкин и его центр в те самые годы, когда закладывались основы его империи.

Через свои контакты в академической среде и среди бывших сотрудников некоммерческого сектора Павлу удалось получить доступ к финансовым отчетам и налоговым декларациям ранних проектов Центра Иринея Лионского за период с 1993 по 1998 год. То, что он обнаружил в этих документах, полностью опровергало патриотический фасад антагониста.

В этих материалах фигурировали зарубежные контакты, поездки, грантовые сметы и помощь со стороны европейских антикультовых кругов. Для человека, который позднее строил риторику на обвинениях других в «иностранном влиянии», это создавало болезненный контраст.

Павел разложил на столе копии платежных поручений и грантовых соглашений.

Из документов вырисовывалась картина, которую невозможно было объяснить случайностью: российский антикультизм девяностых не возник в изоляции. Он с самого начала был связан с европейской апологетической и антикультовой средой — прежде всего с немецкими и скандинавскими церковными и околоцерковными структурами, близкими к тем кругам, где уже десятилетиями разрабатывался язык борьбы с «сектами».

В отчетах фигурировали переводы в немецких марках и долларах США, направленные на издательские проекты, подготовку брошюр, организацию лекционных поездок и методическую работу в регионах. Один из грантовых отчетов за 1995 год подробно расписывал расходы на печать материалов по «сектоведению», командировки, встречи с местными администрациями и консультации для представителей силовых и образовательных структур.

Павел внимательно изучал цифры. Для России середины девяностых, пережившей инфляцию, обнищание научных институтов и развал привычных социальных опор, эти суммы выглядели огромными. На такие деньги можно было не просто издать несколько брошюр. Можно было создать сеть. Провести десятки лекций. Подготовить первых региональных сторонников. Ввести в оборот новый словарь — «деструктивный культ», «тоталитарная секта», «психологическое порабощение» — и сделать так, чтобы через несколько лет этот словарь начал звучать уже не как импортированная методика, а как собственная, почти государственная истина.

— Какое поразительное лицемерие, — тихо произнес Павел, глядя на печати немецких банков на документах. — Человек, который построил свою карьеру на обвинении других в «иностранном влиянии», сам поднялся и укрепился исключительно на зарубежные деньги. Его первые шаги по внедрению в государственные структуры России оплачивались из европейских фондов.

Это было не просто лицемерие. Это был холодный, прагматичный расчет психопата. Дворкин использовал ресурсы западных антикультовых организаций для создания собственного репрессивного аппарата в России, а затем, когда система укрепилась, развернул эту же машину против любых групп, имеющих хоть какие-то связи с Западом, чтобы монополизировать рынок «экспертных услуг» и устранить любых потенциальных конкурентов.

Павел встал из-за стола и подошел к окну. Дождь за стеклом сменился мелкой, ледяной крупой, которая с тихим шорохом билась о стекло. Он посмотрел на свою рабочую доску. Картина была практически завершена.

Павел повернул голову и посмотрел на дверь спальни сына. Илья не выходил из своей комнаты уже несколько часов. Он медленно угасал под давлением этой гигантской, бездушной машины, созданной по лекалам личной патологии одного человека.

Но теперь Павел знал структуру этой машины. Он понимал ее логику, ее историю и ее уязвимые места. Он видел, что за фасадом государственной важности и церковного благочестия скрывается обычный, трусливый садист.

Павел вернулся к столу, взял маркер и провел жирную черную линию от карточки «РАЦИРС: 1994» к карточке «ЭКСПЕРТИЗА ИЛБИ: 2026».

Он понял, что эта машина сильна лишь до тех пор, пока общество верит в ее легитимность, пока люди боятся этих пустых, безразмерных ярлыков-страшилок. Но если сорвать эту маску, если показать истинное лицо ее создателя и вскрыть механизмы ее работы — система начнет разрушаться под собственной тяжестью.

Павел открыл новый файл на компьютере и начал писать следующую главу своего расследования. Он знал, что впереди его ждет самый сложный этап — анализ того, как эта частная инициатива одного психопата смогла проникнуть в самые недра государственной судебной и правоохранительной системы, превратившись в официальную индустрию стигматизации и террора.

Глава 8. Индустрия стигмы

Подъезд старого доходного дома на Солянке встретил Павла запахом столетней сырости, прелой бумаги и дешевого кофе. Скрипучие ступени деревянной лестницы, не видевшей ремонта со времен позднего застоя, уводили на третий этаж, где за тяжелой дубовой дверью без вывески располагался офис адвоката Дмитрия Николаевича Резникова.

Павел остановился на площадке, чтобы перевести дыхание. Последние недели превратили его жизнь в непрерывный марафон между клиникой, где он продолжал вести прием пациентов, и домашним кабинетом, ставшим штабом его собственного расследования. Но сегодня ему требовался взгляд со стороны — профессиональный взгляд человека, который годами противостоял той самой системе, что сейчас медленно перемалывала его сына Илью.

Дверь открылась после первого же звонка. На пороге стоял Резников — плотный, невысокий мужчина лет пятидесяти пяти, с залысинами и умными, невероятно усталыми глазами за стеклами недорогих очков. На нем был помятый твидовый пиджак, из кармана которого торчала авторучка.

— Павел Петрович? Проходите, проходите, — Резников жестом пригласил его внутрь. — Извините за беспорядок, у нас тут перманентный переезд из одного судебного процесса в другой.

Офис адвоката больше напоминал архив: вдоль стен тянулись стеллажи, забитые картонными папками с надписями «Дело №...», на столах громоздились стопки распечаток, а в углу тихо гудел старый системный блок. На подоконнике стояла полупустая чашка с остывшим чаем и лежала открытая пачка сигарет.

— Чай, кофе? — спросил Резников, освобождая для Павла стул, заваленный юридическими вестниками.

— Спасибо, Дмитрий Николаевич, лучше сразу к делу, — Павел сел и положил на край стола свой кожаный портфель. — Я принес материалы по Илье. И те наброски профиля, о которых мы говорили по телефону.

Резников вздохнул, сел напротив и поправил очки.

— Я изучил то, что вы прислали на почту, Павел Петрович. Ситуация с вашим сыном, к сожалению, типовая. Это классический пример работы той самой структуры, которую мы с коллегами называем «индустрией стигмы». Вы, как психиатр, видите в этом патологию личности ее создателя. Я же, как юрист, вижу здесь безупречно отлаженную правовую аномалию, которая создавалась годами при попустительстве, а иногда и при прямом содействии государственных органов.

Адвокат потянулся к одной из стопок на столе и достал плотную серую папку.

— Чтобы понять, как они уничтожают вашего сына сегодня, нам нужно вернуться в 2009 год. Это был год, когда частная инициатива группы лиц с весьма специфическими взглядами получила официальный государственный статус.

Резников открыл папку и извлек из нее копию документа с гербовой печатью.

— Приказ Министерства юстиции Российской Федерации № 53 от 18 февраля 2009 года, — отчетливо произнес адвокат. — Документ, который учредил новый состав Экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы. Формально совет оставался консультативным органом, а его заключения носили рекомендательный характер. Но в реальной практике рекомендация, исходящая из Минюста, могла становиться очень тяжелым аргументом для чиновников, судов и следствия. Именно это и пугало Резникова.

Павел взял документ в руки. Его взгляд скользил по сухим бюрократическим строчкам.

— Дмитрий Николаевич, — Павел поднял глаза на адвоката. — Но ведь государственная религиоведческая экспертиза должна опираться на специалистов, способных анализировать религиозные организации научно и беспристрастно.

— Именно, — горько усмехнулся Резников. — А теперь посмотрите на состав, который был утвержден этим приказом. Председатель совета — Александр Леонидович Дворкин. Человек, не являющийся государственным служащим. Человек, не имеющий профильного государственного образования в области религиоведения или юриспруденции. Его диплом бакалавра богословия, полученный в США, на тот момент даже не имел государственного признания в России. Он не проходил ни по одному из критериев их собственного регламента. Но это никого не смутило.

Адвокат постучал пальцем по бумаге.

— Но самое тревожное — это состав его заместителей и членов совета. Дворкин фактически перенес структуру своей частной организации, РАЦИРС, в министерские кабинеты. Его заместителями стали Роман Силантьев и Валиулла Якупов. В совет вошли его ближайшие соратники и адепты. Государственный орган, призванный обеспечивать конституционный принцип свободы совести, был полностью приватизирован группой лиц с выраженной идеологической ангажированностью.

Павел откинулся на спинку стула, чувствуя, как внутри нарастает холодное понимание масштаба катастрофы.

— Это была легализация преследования, — тихо произнес он. — Государство передало функции контроля над совестью гражданам людям, которые открыто декларировали свою ненависть к любому религиозному и интеллектуальному многообразию.

— Именно, — подтвердил Резников. — И они немедленно начали действовать. С 2009 года в стране начинается лавинообразный рост числа так называемых «репрессивных экспертиз». Религиоведение, лингвистика, психология — все эти научные дисциплины были цинично поставлены на службу одной цели: фабрикация обвинительных заключений под заранее заданный результат.

Резников поднялся, подошел к стеллажу и достал еще одну папку, значительно более толстую, перевязанную пожелтевшей тесьмой.

— Я хочу показать вам, как эта система работает на практике, — адвокат положил папку перед Павлом. — Это закрытые протоколы судебных заседаний и материалы экспертиз по одному из самых громких и позорных процессов того периода — попытке признания экстремистским материалом священного текста индийской традиции, книги «Бхагавад-гита как она есть» в Томске в 2011 году. Я защищал одну из сторон в этом процессе и знаю каждую деталь.

Павел открыл папку. Перед ним лежали копии заключений, составленных экспертами по запросу прокуратуры. Он начал читать, и его профессиональный слух психиатра мгновенно уловил те же интонации, те же речевые конструкции, которые он видел в экспертизе против своего сына Ильи.

— Обратите внимание на методологию, — Резников указал на абзац в тексте. — Они используют метод, который в юриспруденции называют «виной по ассоциации». Эксперты, назначенные по рекомендации структуры Дворкина, анализируют не реальные действия людей, а текст книги, написанной тысячи лет назад. Они вырывают из контекста отдельные фразы о «борьбе», «преданности» или «самоотречении» и объявляют их призывами к экстремизму и насилию.

Павел вчитался в строки экспертного заключения, составленного сотрудниками Томского государственного университета под давлением местных силовиков:

«...В представленном тексте содержатся высказывания, направленные на унижение достоинства человека по признаку его отношения к религии... Автор книги использует манипулятивные техники, направленные на формирование у читателя исключительности своей веры и неполноценности иных религиозных систем...»

— Это же абсурд, — Павел покачал головой. — По такой логике можно запретить любую религиозную литературу, включая Библию или Коран. В любом священном тексте присутствует утверждение истинности своего пути и критика заблуждений других.

— Конечно, абсурд, — согласился Резников. — Но этот абсурд едва не стал судебным прецедентом федерального масштаба. Процесс в Томске был инициирован и координировался непосредственно членами организации Дворкина. Максим Степаненко, Роман Силантьев, Александр Новопашин, Александр Кузьмин, Александр Корелов — все они принимали активное участие в подготовке этого дела. Степаненко открыто хвастался в интернете, как он за

полчаса за компьютером собирает информацию о том, кто в какой группе состоит, их адреса и телефоны, а затем инициирует проверки.

Адвокат перевернул страницу протокола.

— Они пытались устроить публичное судилище. Но они не учли одного — международной реакции. Этот процесс вызвал колоссальный скандал в Индии. Дело дошло до обсуждения в индийском парламенте, были поставлены под удар дипломатические отношения между нашими странами. Только это и заставило систему дать задний ход. Суд в итоге отклонил иск прокуратуры. Но посмотрите, что пишут об этом независимые ученые.

Резников протянул Павлу распечатку научной статьи. Это была работа доктора философских наук, профессора Алексея Тимощука и общественного наблюдателя Константина Филькина. Павел прочитал цитату полностью, фиксируя каждое слово:

«Сегодня в России не существует, к сожалению, института добросовестной экспертизы. «Учёные» своей некомпетентностью чуть было не ограничили граждан России в части некоторых конституционных прав, но при этом они продолжают учить студентов и занимать должности. Можно предположить, что представители правоохранительных органов и силовых структур, раскрутившие маховик судебной машины, лишь продемонстрировали свою некомпетентность. Если не сказать больше, — используя служебное положение в личных целях, они своими необдуманными действиями не только подвергли серьёзному испытанию устоявшиеся российско-индийские отношения, но и бросили вызов основам конституционного строя в части прав и свобод личности. Подав в суд на «Бхагавад-гиту как она есть» за экстремизм, они сами едва не стали разжигателями межрелигиозной вражды. В этой связи следует сделать ещё один вывод данной работы. Однобокое и безосновательное применение Федерального закон «О противодействии экстремистской деятельности» и ст. 282 УК РФ в части признания той или иной литературы экстремистской уже вызвало огромное количество критики. Небывалая частота применения данного законодательного акта, очевидно, вызвана не реальным увеличением экстремизма в стране, а тем, что сам закон становится «прокрустовым ложем», готовым стать в нечистоплотных руках настоящим оружием».

Павел закрыл папку и положил ее на стол. В его сознании, как в сложной клинической картине, начали проступать контуры единой системы.

— Они используют закон как прокрустово ложе, — тихо произнес он. — Они берут живого, мыслящего человека, его идеи, его научную или духовную деятельность, и насильно втискивают в эти безразмерные рамки «экстремизма». И если человек не помещается — ему просто отрубают голову. Социально или юридически.

— Именно так, Павел Петрович, — Резников посмотрел на него с глубоким сочувствием. — И ваш сын Илья попал именно в эту ловушку. Его экологическое исследование микропластика, его контакты с зарубежными коллегами — все это было пропущено через те же самые лекала, которые они обкатывали в Томске много лет назад. Метод «вины по ассоциации» сработал безупречно: грант равен иностранному влиянию, иностранное влияние равно подрыву безопасности, подрыв безопасности равен экстремизму.

Павел встал и подошел к окну. За стеклом, в густых московских сумерках, кружился редкий мокрый снег. Огни машин на Солянке казались размытыми желтыми пятнами. Он чувствовал, как в нем просыпается не просто отец, пытающийся спасти своего ребенка, а врач-исследователь, столкнувшийся с новой, крайне опасной социальной патологией.

— Дмитрий Николаевич, — Павел повернулся к адвокату. — Как психиатр, я вижу в этой системе четкую, последовательную динамику. Это не хаотичные действия отдельных чиновников или фанатиков. Это индустриальный процесс. Я могу выделить в нем четыре отчетливых этапа уничтожения личности, которые они применяют к своим жертвам.

Павел подошел к столу, взял чистый лист бумаги и карандаш.

— Давайте запишем это, — предложил он. — Нам это понадобится для выстраивания защиты.

Резников внимательно наблюдал за ним, кивая головой.

— Первый этап, — Павел вывел на бумаге крупное слово. — Стигматизация.

Он начал объяснять, формулируя мысли с предельной клинической четкостью:

— Все начинается с навешивания ярлыка. Дворкин всегда выступал против введения четкого юридического определения термина «секта» или «деструктивный культ». И это не случайно. Если бы существовало строгое юридическое определение, им пришлось бы доказывать факты в суде. А в

отсутствие закона они могут назвать «сектой» кого угодно — экологическую группу, научную лабораторию, йога-центр. Это позволяет безосновательно и безнаказанно обвинить человека в том, чего он не совершал, создав прецедент в общественном мнении. Навешивание ярлыка запускает механизм социального отторжения. Жертва мгновенно лишается презумпции невиновности в глазах обывателей.

Павел провел линию вниз и написал второе слово: Псевдоэкспертиза.

— Второй этап — это придание ярлыку наукообразного статуса. Здесь в дело вступает тот самый Экспертный совет при Минюсте и сеть лояльных экспертов РАЦИРС. Они составляют заключения, используя псевдонаучную терминологию, лишенную верифицируемых методик. Текст пишется тяжелым языком, который априори исключает возможность рационального опровержения. Любое возражение жертвы трактуется как «проявление манипулятивного воздействия» или «защитная реакция адепта». Экспертиза становится фундаментом, на котором выстраивается все последующее обвинение. Суд принимает ее во внимание просто потому, что она исходит от людей с учеными степенями, назначенными государственным органом.

Павел вывел третье слово: Секьюритизация.

— Третий этап — это перевод проблемы из плоскости академической или религиозной дискуссии в плоскость национальной безопасности. Деятельность жертвы объявляется не просто «странной» или «неправильной», а смертельной угрозой для государства. Дворкин и его соратники активно используют этот прием, запугивая чиновников и силовиков призраками «новых экстремистских сетей», координируемых из-за рубежа. Это мобилизует силовой аппарат. Правоохранительные органы вовлекаются в процесс, видя в этом возможность получить новые звания, закрыть показатели по борьбе с экстремизмом или просто продемонстрировать свою бдительность. На этом этапе закон окончательно превращается в оружие подавления.

Павел нажал на карандаш, выводя последнее, четвертое слово: Гражданская смерть.

— И четвертый, финальный этап — это полная социальная стерилизация жертвы. Человека не обязательно сажать в тюрьму. Достаточно лишить его возможности существовать в обществе. Университет разрывает с ним контракты, друзья и коллеги отворачиваются, парализованные страхом, банковские счета блокируются, любое его слово автоматически объявляется пропагандой. Жертва

оказывается в состоянии абсолютной психологической беспомощности. Ее разум ломается изнутри под давлением этой изоляции. Человек начинает сомневаться в собственной адекватности, удаляет переписки, боится выходить на улицу. Это то, что сейчас происходит с моим сыном Ильей. Его не бьют физически, но его личность планомерно уничтожают, лишая его права на жизнь в социуме.

Павел положил карандаш на стол. На листе бумаги четко вырисовывалась схема из четырех блоков, соединенных стрелками:

Стигматизация → Псевдоэкспертиза → Секьюритизация → Гражданская смерть

Резников долго смотрел на эту схему. Его лицо было серьезным, почти суровым.

— Вы абсолютно правы, Павел Петрович, — тихо произнес адвокат. — Это безупречное описание технологии юридического террора. Я видел, как эта схема ломала жизни сильных, взрослых мужчин. А для двадцатидвухлетнего парня, который верил в науку и справедливость, это должно быть невыносимо.

Резников поднялся, подошел к сейфу в углу кабинета и достал оттуда небольшой флеш-накопитель.

— Здесь копии всех материалов по Экспертному совету 2009 года, протоколы заседаний, личные дела экспертов и стенограммы томского процесса. Забирайте. Это то, что мы сможем использовать в суде, когда подадим иск о признании экспертизы против Ильи недействительной. Мы должны показать судье, что люди, написавшие это заключение, являются частью одной и той же ангажированной сети, действующей по единому шаблону.

Павел взял флешку, бережно сжал ее в ладони и убрал в карман пальто.

— Спасибо, Дмитрий Николаевич. Вы не представляете, как это важно для меня.

— Держитесь, доктор, — Резников крепко пожал ему руку на прощание. — Мы имеем дело с очень опасным противником. Он силен тем, что прячется за государственными печатями. Но его сила — это одновременно и его слабость. Как только мы покажем, что под этими печатями скрывается обычная ложь и личная патология, вся эта конструкция начнет сыпаться.

Павел вышел на улицу. Дождь со снегом усилился, превращая тротуары Солянки в скользкое месиво. Он шел пешком в сторону метро, не замечая холодных капель, стекающих по лицу.

В его голове продолжали крутиться слова Резникова и сухие строчки из протоколов томского суда. Он думал о том, как поразительно точно патологический почерк одного человека масштабировался до размеров государственной политики. Александр Дворкин, когда-то стоявший на краю строительной ямы в Сокольниках и упивающийся смертью маленького первоклассника, теперь стоял на вершине государственной экспертной системы, направляя удары этой гигантской машины на тысячи таких же невинных людей, как его сын Илья.

Но теперь у Павла была карта этой системы. Он понимал ее структуру, ее этапы и ее уязвимые места. Он знал, что «индустрия стигмы» сильна лишь до тех пор, пока общество соглашается играть роль послушного исполнителя, пока люди боятся этих пустых, безразмерных ярлыков.

Павел спустился в метро. В вагоне было многолюдно и шумно. Люди ехали с работы, уткнувшись в телефоны, погруженные в свои повседневные заботы. Они не знали, что рядом с ними, в том же самом городе, работает невидимый конвейер, способный в любой момент вычеркнуть любого из них из жизни на основании одной-единственной псевдонаучной экспертизы.

Павел знал, что впереди его ждет самый сложный этап расследования. Чтобы нанести удар легитимности этой системы, ему нужно было понять, как далеко простираются ее щупальца за пределы страны. Ему нужно было исследовать международные связи этой организации, уходящие вглубь европейских институтов.

Поезд мчался сквозь темный тоннель, унося его навстречу новому дню и новым открытиям в этой долгой, изнурительной войне за жизнь своего сына.

Глава 9. Экспорт страха

Снежная крупа, сменившая ледяной дождь, мгновенно таяла на лобовом стекле, превращаясь в грязные потеки. Павел выключил зажигание и несколько минут сидел в полумраке салона, прислушиваясь к тому, как остывает двигатель его

старой «Вольво». За окном тянулся Покровский бульвар — серый, притихший под вечерним февральским небом. Прохожие спешили укрыться от сырого ветра, пряча лица в воротники.

Павел приехал сюда ради встречи, которая должна была вывести его расследование на совершенно иной уровень. До сих пор он изучал внутреннюю механику репрессивной машины, созданной Александром Дворкиным в России. Но вчерашний разговор с адвокатом Резниковым и анализ документов с флешки заставили его понять: щупальца этого транснационального спрута давно протянулись через государственные границы.

Павел вышел из машины, поправил ремень тяжелого кожаного портфеля и направился к небольшому французскому кафе в подвальном помещении старого кирпичного дома. В дальнем углу, за столиком у кирпичной стены, сидел человек, ради которого Павел проделал этот путь.

Марк-Антуан Дюбуа, бывший юридический аналитик одного из европейских правозащитных агентств в Брюсселе, выглядел как типичный французский интеллигент: за пятьдесят, худощавый, в безупречно сидящем темно-синем пиджаке поверх серого кашемирового свитера. Его аккуратная борода была тронута сединой, а в умных глазах за тонкими стеклами очков читалась усталость человека, уставшего бороться с ветряными мельницами бюрократии. Дюбуа уже несколько лет жил в Москве, занимаясь частными культурными проектами после того, как его карьера в Брюсселе была разрушена в результате жесткого давления лоббистских групп.

— Рад встрече, Павел Петрович, — Дюбуа поднялся и крепко пожал Павлу руку. Его русский язык был почти безупречен, лишь легкий, едва уловимый акцент выдавал его происхождение. — Присаживайтесь. Я заказал нам кофе.

Они сели. Павел достал из портфеля блокнот и положил его на стол, но пока не открывал. Ему важно было понять мотивы своего собеседника.

— Марк-Антуан, спасибо, что согласились встретиться, — тихо произнес Павел. — Я знаю, что для вас эта тема болезненна. Но дело касается моего сына. Его уничтожают по тем же лекалам, которые вы изучали в Европе.

Дюбуа грустно улыбнулся и сделал глоток эспresso.

— Я знаю, Павел. Именно поэтому я здесь. Когда я прочитал ваше письмо о ситуации с Ильей, я узнал почерк. Этот почерк мне слишком хорошо знаком. В

Брюсселе и Страсбурге мы годами наблюдали, как эта группа ломает судьбы людей, прикрываясь европейскими институтами. Вы думаете, что FECRIS — это просто французская общественная организация? Нет, мой друг. Это зонтичная структура, которая стала главным проводником российского антикультового влияния в самом сердце Европы.

Павел открыл блокнот и приготовился записывать.

— Расскажите о координации, — попросил он. — Как РАЦИРС и FECRIS взаимодействуют на практике?

— Это единый организм, — Дюбуа подался вперед, его голос стал тише. — В 2009 году, когда Дворкин получил официальный статус в российском Минюсте, он одновременно стал вице-президентом FECRIS на симпозиуме в Санкт-Петербурге. Это не было совпадением. Это была синхронизированная операция. Французское правительство, которое предоставляет большую часть финансирования FECRIS через структуру MIVILUDES, фактически оплачивало деятельность организации, руководство которой напрямую координировало свои действия с российскими силовиками. На том же симпозиуме в 2009 году руководство FECRIS встречалось с министром юстиции России Александром Коноваловым. Они обменивались не просто любезностями — они обменивались стратегиями. РАЦИРС стал идеологическим центром, который поставлял европейским антикультистам самые радикальные методики борьбы с инакомыслием.

Дюбуа достал из своего портфеля папку с распечатками документов на английском и французском языках.

— Посмотрите на эти отчеты, — он положил листы перед Павлом. — Здесь зафиксированы регулярные контакты между российскими антикультистами и отделениями FECRIS в Латвии, Франции и Германии. Они координировали трансграничное давление на правоохранительные органы различных стран. Если в России нужно было закрыть какую-то религиозную группу или общественную организацию, Дворкин отправлял запрос своим европейским коллегам. Те устраивали пресс-конференцию в Париже или Брюсселе, раздували скандал в европейских СМИ, а затем российские телеканалы ссылались на эти публикации: «Смотрите, даже в просвещенной Европе эту группу считают опасной сектой!» Это была идеальная круговая порука.

Павел внимательно изучал документы. Его взгляд зацепился за конкретные имена и даты.

— А как насчет прямого давления на европейских политиков? — спросил он. — В ваших материалах упоминается инцидент в Брюсселе в 2010 году.

Дюбуа кивнул, его лицо посуровело.

— О, это была очень грязная история. Ноябрь 2010 года. В Европарламенте планировались слушания о свободе религии в России. Организаторами выступали депутат от Нидерландов Корнелис де Йонг и Вилли Фотре, возглавляющий авторитетную неправительственную организацию «Права человека без границ». Тема слушаний была крайне неудобной для Москвы: «Религиозная свобода в России: злоупотребления закона об экстремизме против религиозных меньшинств». Дворкин, будучи вице-президентом FECRIS, подал заявку на участие. Он хотел выступить и заявить, что никакого преследования нет, а есть лишь «защита общества от деструктивного влияния». Но оргкомитет, зная его репутацию, ответил ему жестким отказом. Его просто не пустили на порог.

— И что он сделал? — Павел поднял глаза от документов.

— Он попытался задействовать политические каналы, — ответил Дюбуа. — В материалах фигурирует имя Татьяны Жданок, депутата Европарламента от Латвии. Фигура крайне показательная. Много лет она оставалась одним из самых заметных пророссийских голосов в европейской политике, а в январе 2024 года журналисты The Insider, Re, Delfi Estonia и Expressen опубликовали расследование на основе утекшей переписки, где утверждалось, что Жданок сотрудничала с российской ФСБ как минимум с 2004 года. После этого Европарламент начал внутреннюю проверку, а в Латвии было открыто уголовное производство. Сама Жданок эти обвинения отрицала.

Дюбуа сделал паузу и положил перед Павлом копию старой служебной переписки.

— Но нас сейчас интересует не 2024 год, а 2010-й. Тогда Жданок обладала статусом депутата Европарламента, доступом к парламентской инфраструктуре и возможностью приглашать людей в здание. В архиве есть упоминания о том, что через ее офис пытались организовать проход для Дворкина на мероприятие, связанное со свободой религии в России. Насколько далеко это зашло и на каких условиях ему был выдан пропуск — вопрос, который требует отдельной проверки. Но сама связка показательная: российский антикультовый активист, европейская антикультовая сеть и депутат, чьи контакты с российскими структурами спустя годы станут предметом громкого расследования.

Павел сделал подробную запись в блокноте: *«Ноябрь 2010, Брюссель. Использование Дворкиным каналов Татьяны Жданок (агента ФСБ) для обхода запрета на участие в слушаниях Европарламента. Прямая связь между антикультовым лобби и российскими спецслужбами».*

— Но Латвия была лишь частью этой схемы, не так ли? — спросил Павел.

— Латвия была их экспериментальным полигоном, — подтвердил Дюбуа. — Наиболее активными борцами против так называемых сект там были Олег Никифоров, Виктор Ёлкин и Светлана Крылова. Все они являлись членами радикальной пророссийской партии «Русский союз Латвии», которую возглавлял Андрей Мамыкин — человек, который сейчас находится в международном розыске за оправдание военных преступлений России и скрывается в Москве. В архиве также упоминаются мероприятия середины двухтысячных, посвященные теме «тоталитарных сект», в том числе семинар в Риге под названием «Рабы — не мы?», посвященный ограничению деятельности «тоталитарных сект». Они использовали антикультовую риторику для раскола латвийского общества, для дестабилизации общественно-политической ситуации и внедрения агентов влияния под видом «экспертов по безопасности».

Дюбуа сделал паузу, подзывая официанта, чтобы обновить кофе. В кафе стало тише, за соседними столиками велись негромкие разговоры. Павел чувствовал, как в его сознании выстраивается глобальная картина. Это была не просто борьба с религиозными группами. Это была масштабная, скоординированная спецоперация по разрушению демократических институтов изнутри, где антикультизм выступал в роли идеального тарана.

— Марк-Антуан, — Павел посмотрел на собеседника. — Вы упомянули Францию и Бельгию. Как им удалось коррумтировать политические элиты там? Ведь Франция гордится своими демократическими традициями.

Дюбуа горько вздохнул.

— Франция пала первой, потому что там антикультизм был возведен в ранг государственной политики через MIVILUDES. Посмотрите на имена. Соня Бакес, бывший заместитель министра внутренних дел по вопросам гражданства Франции, официально и открыто сотрудничала с MIVILUDES и FECRIS. Жорж Фенек, бывший французский политик и член руководящего комитета MIVILUDES, в 2019 году открыто ездил в оккупированный Крым в составе делегации французских парламентариев, чтобы встретиться с Путиным и заявить на весь мир, как хорошо

Крыму живет под российской аннексией. В 2013–2014 годах французские антикультисты поручили депутату Руди Саллесу, также члену руководящего комитета MIVILUDES, проработать в ПАСЕ вопрос о принятии резолюции по «культам и несовершеннолетним». А в Бельгии нынешний президент FECRIS Андре Фредерик, будучи членом Федерального парламента, напрямую влиял на принятие репрессивных законов, таких как закон 2011 года «О злоупотреблении слабостью». Все они действовали в тесном контакте с Дворкиным и его вице-президентом РАЦИРС Александром Новопашиным. Это была слаженная, методичная кампания по экспорту страха.

Павел открыл чистый лист в блокноте. Как психиатр, он понимал, что любая репрессивная система нуждается в постоянном притоке «топлива» — реальных человеческих трагедий, которые оправдывали бы ее существование. Но если реальных трагедий нет, система начинает их производить.

— Марк-Антуан, расскажите о методе создания «фейковых жертв». Как они фабрикуют дела против мирных людей?

Дюбуа откинулся на спинку стула, его глаза за стеклами очков сузились.

— Это самая грязная и самая эффективная их технология, Павел. В нашей профессиональной среде это называют «индустрией апостатов». Чтобы запустить маховик уголовного преследования против любой группы, силовикам нужно заявление от пострадавшего. Но что делать, если в группе никто не страдает? Если люди просто собираются, читают книги, медитируют или занимаются экологией, как ваш сын? Тогда жертву нужно создать.

— Как именно? — Павел подался вперед.

— Методология проста и чудовищна одновременно, — Дюбуа начал загибать пальцы. — Сначала антикультисты через свои региональные центры находят человека, который покинул группу. Это может быть кто угодно: обиженный бывший участник, человек, у которого возник личный конфликт с руководством, или просто психически нестабильная личность, склонная к суггестии. С этим человеком начинают работать профессиональные психологи из сети РАЦИРС или FECRIS. Они применяют метод, который я бы назвал «реверсивным программированием».

Павел кивнул, мгновенно уловив клиническую суть термина.

— Они внушают человеку, что все его годы нахождения в группе были периодом рабства и насилия, — продолжил Дюбуа. — Они используют его естественные чувства — обиду, разочарование, чувство вины — и трансформируют их в глубокую, параноидальную убежденность в том, что он стал жертвой «психологического кодирования» и «финансового вымогательства». Человеку буквально переписывают память. Он начинает искренне верить в ужасы, которых никогда не было. Затем юристы антикультовых центров пишут за него заявление в правоохранительные органы — профессиональным, юридическим языком, изобилующим терминами вроде «манипулирование сознанием» и «деструктивное воздействие».

Дюбуа достал из папки еще один документ.

— Вот вам конкретный микро-кейс из моей практики. Италия, 2016 год. Дело малой буддийской общины в Тоскане. Местная антикультовая группа, входящая в итальянский форум FAVIS — партнера FECRIS, — решила уничтожить эту общину. Они нашли Клару Бьянки, молодую женщину, которая ушла из общины после банальной ссоры со своим молодым человеком, также состоявшим в этой группе. Клара была в глубокой депрессии. Антикультисты из FAVIS буквально взяли ее в оборот. Они изолировали ее от семьи, три месяца держали в своем «реабилитационном центре» и ежедневно внушали ей, что лидер общины использовал против нее «техники ментального контроля» и вымогал у нее деньги.

Дюбуа постучал пальцем по документу.

— В итоге Клара подписала заявление, составленное юристами FAVIS. На основании этого заявления Антикультовый отряд Министерства внутренних дел Италии (S.A.S.) провел жесткий рейд: маски-шоу, обыски, аресты лидеров, конфискация имущества. В СМИ началась дикая истерия о «секте садистов». А через два года на судебном процессе независимая психиатрическая экспертиза доказала, что Клара Бьянки страдала индуцированным бредовым расстройством, развившимся в результате психологического давления со стороны самих антикультистов. Суд полностью оправдал лидеров общины, признав, что все показания Клары были сфабрикованы и навязаны ей сотрудниками FAVIS. Но было поздно. Община была уничтожена, репутация людей растоптана, их жизни разрушены. Это и есть «гражданская смерть» в действии.

Павел слушал, и в его сознании всплывали фрагменты экспертизы против его сына Ильи. Он вспомнил, как декан Воробьев намекал ему на то, что в деле Ильи есть некие «показания свидетелей».

«Они пытаются сделать то же самое с Ильей, — подумал Павел, чувствуя, как холодная ярость сжимает его сердце. — Они ищут среди его сокурсников по “Зеленому щиту” кого-то слабого, кого-то, кого можно запугать или сломать, чтобы создать “фейковую жертву”. Если они найдут такого человека, Илье будет грозить не просто социальная изоляция, а реальный тюремный срок по обвинению в создании “деструктивного культа”».

— Марк-Антуан, — тихо произнес Павел. — Как эта система обосновывает свои действия на глобальном уровне? Ведь они должны как-то объяснять обществу необходимость такого тотального контроля.

Дюбуа горько усмехнулся.

— Они используют технологию тотальной демонизации. И эта технология, обкатанная на малых группах, теперь применяется ими к целым государствам. Посмотрите, что они сделали с Украиной перед началом войны. Это ведь классический пример экспорта страха.

Дюбуа открыл на планшете сохраненную статью и зачитал цитату Владимира Рогатина, члена-корреспондента FECRIS и руководителя Николаевского антисектантского центра, сделанную еще в 2014 году:

«Дискриминация вышла на качественно иной уровень. Надо признать, что там были не только православные и униаты; в протестах на Майдане участвовали неоязычники, баптисты и различные движения... В Украине наблюдается увеличение влияния и присутствия разного рода сатанинских сект... По разным оценкам, в нашей стране действуют более сотни сатанинских групп...»

— Вы понимаете, что это? — Дюбуа посмотрел на Павла. — Они взяли технологию расчеловечивания и применили ее к целому народу. Дворкин и его соратники, такие как Роман Силантьев со своей выдуманной «деструктологией», годами внушали российскому обществу и силовикам, что Украина превратилась в гигантский «сатанинский культ», управляемый западными спецслужбами. Они создали ментальную рамку, в которой насилие и война стали не просто допустимыми, а «священным долгом» по очищению пространства. Если ты убедишь солдата, что по ту сторону окопа стоят не люди, а «адепты деструктивного

культы», у него исчезнут любые моральные барьеры. Антикультизм — это предвестник будущих кровавых потрясений. Они готовят почву для дестабилизации везде, где появляются.

Павел закрыл блокнот. Информация, полученная от Дюбуа, окончательно замкнула контур его расследования.

Теперь он видел всю картину целиком.

Александр Дворкин не был просто локальным российским инквизитором. Он являлся ключевым узлом транснациональной сети, которая использовала страх как главный инструмент геополитического влияния. Эта сеть, финансируемая из бюджетов европейских стран и координируемая из Москвы через каналы спецслужб, создала глобальную индустрию стигматизации.

Они использовали европейские институты — Европарламент, ПАСЕ, Совет Европы — как ширму для легализации своих методов. Они коррумпировали европейских политиков, заставляя их принимать репрессивные законы. Они обкатывали свои технологии в Латвии и Италии, создавая «фейковых жертв» и фабрикуя уголовные дела, чтобы затем импортировать этот опыт обратно в Россию, превращая его в федеральные законы.

И Илья, его тихий, замкнутый сын, занимавшийся исследованием микропластика, оказался на пути этого глобального конвейера страха. Его шведско-финский грант был помечен системой не потому, что он нес какую-то угрозу. А потому, что транснациональная сеть FECRIS-ПАЦИРС систематически отслеживает любые независимые горизонтальные связи между российской молодежью и европейским научным сообществом, маркируя их как «каналы глобалистского контроля сознания». Им нужно было изолировать Россию, опустить железный занавес, чтобы внутри этой закрытой системы их власть над умами стала абсолютной.

— Спасибо, Марк-Антуан, — Павел поднялся и бережно убрал документы в портфель. — Вы дали мне то, чего мне не хватало. Теперь я знаю, как с ними бороться.

— Будьте осторожны, Павел, — Дюбуа тоже поднялся, его взгляд был тревожным. — Эти люди не останавливаются ни перед чем. Они защищают не веру и не государство. Они защищают свою монополию на право решать, кому жить, а

кому умереть. Для них пустое небо — это не просто метафора. Это их реальность, в которой они сами хотят быть богами.

Павел вышел из кафе. Ветер на Покровском бульваре утих, но холод стал еще более пронизывающим. Мелкий снег ложился на асфальт, покрывая город тонкой, белой пеленой.

Павел шел к машине, и в его голове звучали слова Дюбуа об «индустрии апостатов» и «пустом небе». Как психиатр, он понимал, что столкнулся с предельной, абсолютной формой человеческого зла — злом, которое не просто убивает тело, а планомерно, технологично выжигает душу, заставляя жертву саму становиться соучастником своего уничтожения.

Он сел в машину, завел двигатель и посмотрел на пассажирское сиденье, где лежал портфель с документами.

Теперь у него был полный профиль. Он проследил путь маски — от строительной ямы в Сокольниках до блестящих залов Европарламента в Брюсселе. Он вскрыл механизмы ее работы, ее международные связи и скрытые пружины.

Павел знал, что его оппонент чувствует себя в абсолютной безопасности. Дворкин верил, что его прикрывают министерские кабинеты, церковные амвоны и генералы спецслужб. Он верил, что создал безупречную машину, против которой обычный человек бессилен.

Но Павел также знал, что у любой, даже самой сложной системы есть своя критическая точка уязвимости. И эта точка находилась в самом ядре личности ее создателя — в том самом экзистенциальном страхе перед пустотой, который он всю жизнь пытался заглушить чужими страданиями.

Павел включил передачу и медленно поехал по заснеженному бульвару. Он возвращался домой, к Илье. Он знал, что битва за жизнь его сына вступает в свою решающую, финальную стадию. И в этой битве у него больше не было права на ошибку.

Глава 10. Пустое небо

Электричка на Ярославском направлении шла полупустой. За мутными, покрытыми морозными узорами стеклами вагона тянулся однообразный подмосковный пейзаж: серые перелески, заваленные грязным снегом платформы, редкие дачные поселки с темными окнами пустующих домов. Павел сидел у окна, прижавшись лбом к холодному стеклу. Ритмичный стук колес не успокаивал, а лишь подчеркивал тяжесть мыслей, которые не отпускали его последние дни.

Он ехал в Абрамцево. Там, в старом дачном кооперативе, уже много лет жил уединенной жизнью Михаил Андреевич Волков — человек, чье имя когда-то хорошо знали в церковных и академических кругах Москвы. В конце девяностых и начале двухтысячных годов Волков занимал должность главного редактора одного из крупнейших православных издательств и работал в тесном контакте с Александром Дворкиным, помогая готовить к печати его первые крупные труды, включая знаменитое «Сектоведение». Однако в середине двухтысячных Волков внезапно оставил все свои посты, прервал контакты с прежними соратниками и фактически исчез из публичного пространства.

Павлу стоило огромных трудов разыскать его адрес и убедить встретиться. По телефону Волков отвечал сухо, неохотно, но когда Павел упомянул, что речь идет о спасении его сына Ильи, в трубке повисла долгая пауза, после которой старик тихо произнес: «Приезжайте. Только не на машине. Электричкой надежнее. И не берите с собой никаких электронных устройств».

Платформа встретила Павла пронизывающим ветром. Он быстро пошел по узкой, расчищенной в сугробах тропинке, ведущей в глубь дачного поселка. Высокие сосны глухо шумели над головой, стряхивая на плечи тяжелые шапки мокрого снега. Нужный дом нашелся на самой окраине, у самого леса. Это была старая двухэтажная дача из потемневшего от времени бруса, с высокой кирпичной трубой, из которой шел тонкий шлейф сизого дыма.

Волков ждал его на крыльце. Это был высокий, сильно сутулящийся мужчина лет семидесяти пяти, в поношенном шерстяном кардигане поверх темной рубашки. Его длинные седые волосы были зачесаны назад, а густая борода отливала серебром. В его облике угадывался прежний университетский интеллектуал, сознательно выбравший участь отшельника.

— Проходите, доктор, — негромко сказал Волков, отступая в сторону и впуская Павла в теплое, пахнущее березовыми дровами и сухими травами прихожую. — Раздевайтесь. Чайник как раз закипел.

Они прошли в просторную комнату, совмещавшую в себе библиотеку и гостиную. Вдоль всех стен тянулись тяжелые дубовые стеллажи, забитые книгами — от старинных фолиантов в кожаных переплетах до современных научных изданий. В углу тихо потрескивала чугунная печь-буржуйка, отдавая мягкое, сухое тепло.

Волков налил в две глиняные чашки крепкий черный чай и сел напротив Павла за круглый деревянный стол.

— Я знаю, зачем вы приехали, Павел Петрович, — начал старик, глядя на пламя, пляшущее за стеклянной дверцей печи. — Вы ищете уязвимое место в броне человека, который сейчас уничтожает вашего сына. Вы хотите понять, как работает его разум.

— Да, — Павел сделал глоток горячего чая. — Я составил подробный клинический профиль. Я проследил его путь от детства до сегодняшнего дня. Но мне не хватает главного звена. Я вижу структуру его действий, вижу его методы, но я не могу до конца нащупать его экзистенциальное ядро. Чего он хочет на самом деле? Какова его конечная цель? Ведь это не просто защита веры. Человек, обладающий такой структурой личности, не может искренне служить Богу.

Волков горько усмехнулся, его пальцы медленно поглаживали теплую глину чашки.

— Вера? — старик покачал головой. — Знаете, Павел Петрович, я работал с ним бок о бок почти семь лет. Мы провели сотни часов за обсуждением текстов, планированием издательских серий, подготовкой докладов. И за все эти годы я ни разу — понимаете, ни единого разу — не видел, чтобы этот человек молился. Не напоказ, не перед камерами или на официальных богослужениях, а наедине с собой.

Волков подался вперед, его глаза за стеклами очков сузились.

— В нем нет ни капли личной религиозной веры. Это абсолютный, выжженный цинизм. Для него Церковь — это не Тело Христово, не пространство любви и спасения. Для него это исключительно крепость с толстыми стенами и тяжелыми дубинами, с помощью которых можно безнаказанно крушить головы

всем, кто находится снаружи. Он пришел туда не для того, чтобы служить Богу. Он пришел туда, чтобы занять Его место.

— Как это проявлялось в его повседневной работе? — спросил Павел, фиксируя каждое слово собеседника.

— В его отношении к текстам, — ответил Волков. — Когда мы готовили первое издание «Сектоведения», я, как редактор, пытался сгладить самые острые, агрессивные углы. Я говорил ему: «Александр Леонидович, мы ведь пишем православную книгу. Наша цель — не просто заклеить, а помочь людям, которые запутались, показать им путь назад, к Христу. Давайте добавим в главы о реабилитации больше слов о милосердии, о пастырской любви, о прощении». Знаете, что он сделал?

Волков поднялся, подошел к одному из стеллажей и достал оттуда толстый том в синем переплете. Это было первое издание «Сектоведения». Он положил книгу на стол перед Павлом и открыл ее на одной из страниц, где сохранились карандашные пометки на полях.

— Он взял черный маркер, — продолжал старик, — густо вычеркнул весь предложенный мной абзац о христианском милосердии и сказал мне прямо в лицо, с такой холодной, злой усмешкой: «Милосердие — это слабость, Михаил Андреевич. Если мы начнем их жалеть, они никогда не сломаются. Их нужно не жалеть, их нужно ломать. Только через полную катастрофу, через разрушение их иллюзий они могут прийти к нам. Любовь — это лазейка, которую враг использует, чтобы проникнуть в наши ряды». Он вычеркивал слово «любовь» везде, где оно употреблялось в контексте отношения к тем, кого он считал сектантами.

Павел бережно перевернул страницу книги. Его профессиональный взгляд психиатра мгновенно фиксировал особенности текста. Это был не богословский труд. Это был манифест войны, написанный языком военной пропаганды, где противник дегуманизировался с первых же строк.

— Я понял это слишком поздно, — тихо произнес Волков, возвращаясь на свое место. — Я долго пытался оправдывать его перед самим собой. Думал, что это его американская школа, жесткие методы депрограммирования, которые он там впитал. Но потом я понял: дело не в методах. Дело в его личном, глубинном нигилизме. Он использует язык религиозного фундаментализма как идеальную маскировку для своего абсолютного неверия. Он — богоборец, надевший маску защитника веры.

Вернувшись в Москву поздним вечером, Павел не смог лечь спать. В его квартире стояла та же тяжелая, гнетущая тишина. Илья спал в своей комнате, измученный очередным днем вынужденного бездействия и страха. Павел прошел в свой кабинет, включил настольную лампу и разложил на столе привезенную из Абрамцево книгу Дворкина, а также распечатки его публичных выступлений и статей разных лет.

Он решил провести детальный лингвистический и контент-анализ главного труда своего оппонента — книги «Сектоведение». Как психиатр, Павел знал, что язык человека — это рентгеновский снимок его подсознания. Какие бы маски ни надевал субъект, его истинная мотивация всегда прорывается сквозь синтаксис, выбор метафор и частоту употребления определенных понятий.

Павел открыл ноутбук, запустил программу семантического анализа и начал вводить ключевые тексты Дворкина. Он выделил базовые христианские понятия, которые должны составлять основу любого православного богословского или пастырского труда: *любовь, милосердие, прощение, спасение, благодать, сострадание*.

Результаты компьютерного анализа оказались шокирующими, хотя подсознательно Павел был к этому готов.

В книге объемом более восьмисот страниц, претендующей на роль главного учебника по православному сектоведению, слово «любовь» (в контексте христианской добродетели или отношения к ближнему) практически отсутствовало. Оно встречалось всего несколько раз, и то исключительно в ироничном, издевательском ключе — когда автор описывал так называемый «бомбардировочный метод любви», якобы применяемый в нетрадиционных религиозных группах для вербовки новичков.

Слово «милосердие» не встретилось в авторском тексте ни разу. Оно присутствовало лишь в цитатах из официальных церковных документов, которые Дворкин был вынужден включить в приложение.

Слово «прощение» отсутствовало полностью.

Вместо этого семантическое ядро книги составляли совершенно иные лексические группы. Павел выписал на лист бумаги слова-доминанты, частота употребления которых превышала все допустимые нормы для научной или богословской литературы.

На отдельном листе Павел выписал слова и смысловые группы, которые повторялись чаще всего: власть, контроль, подчинение, манипуляция, деструктивность, разрушение, опасность, угроза, вербовка, зависимость, наказание, преследование. Эти слова образовывали не случайный фон, а внутренний каркас текста. Читатель снова и снова возвращался к одной и той же картине мира: есть скрытая опасность, есть враг, есть жертва, лишенная собственной воли, и есть эксперт, который должен распознать угрозу раньше всех.

Перед ним была не книга о Боге. Перед ним был детальный учебник по психологическому насилию и подавлению воли, написанный человеком, чей разум был полностью оккупирован идеей тотального контроля.

Он взял маркер и начал подчеркивать характерные речевые конструкции в тексте «Сектоведения». Его внимание привлекла манера автора описывать состояние людей, попавших в религиозные группы. Дворкин последовательно лишал их любой субъектности. В его интерпретации эти люди не были мыслящими существами, совершившими ошибку или находящимися в духовном поиске. Они описывались как «зомби», «роботы», «марионетки», лишенные воли, разума и чувств.

«...адепт полностью утрачивает способность к самостоятельному мышлению... его личность стирается, заменяясь искусственным ментальным шаблоном... он становится послушным орудием в руках руководства культа...»

Павел сделал важную пометку в своем блокноте: *«Лингвистическая дегуманизация жертвы. Субъект систематически лишает своих оппонентов человеческих качеств. Это классический психопатический прием: чтобы уничтожить человека без чувства вины, нужно сначала доказать себе и окружающим, что этот человек — не более чем бездушный автомат, биомасса, лишенная воли».*

Но зачем? Зачем человеку, не верящему в Бога, тратить десятилетия жизни на создание этой гигантской индустрии преследования? Каков его истинный, глубинный мотив?

Павел закрыл книгу и подошел к окну. В темном небе над Москвой не было видно звезд — лишь тусклая, серая пелена облаков, подсвеченная снизу ядовито-желтыми огнями мегаполиса.

«Есть только абсолютно пустое небо над головой», — вспомнил Павел фразу из автобиографии Дворкина «Моя Америка», которую он выписал ранее.

И в этот момент все разрозненные детали его расследования, все свидетельства очевидцев, все архивные документы и лингвистические маркеры сомкнулись в одну страшную, ослепительно ясную картину.

Павел понял. Истинной целью Александра Дворкина была не защита православия. Его целью был личный, экзистенциальный спор с Богом.

Вся его жизнь, начиная с того самого момента в детстве, когда он совершил свои первые акты насилия, была непрерывным, отчаянным экспериментом. Молодой Саша Дворкин, воспитанный в жесткой, параноидальной атмосфере семейных страхов и советского атеизма, подсознательно искал границы дозволенного. Когда он совершал свои первые жестокие поступки, когда он манипулировал сверстниками и упивался их беспомощностью, его детская, травмированная душа ждала ответа. Она ждала той самой «невидимой руки Бога», о которой ему рассказывал заикающийся Яша на уроках ботаники. Он ждал, что небо расколется, что раздастся гром, что придет наказание, которое остановит его и вернет миру правильный, справедливый порядок.

Но небо промолчало. Когда он скинул тело ещё живого первоклассника в строительную яму и заставил Яшу бросать в неё камни — Бог промолчал. Когда сам Яша, единственный свидетель его позора и его жестокости, утонул в Сокольнических прудах — Бог снова промолчал.

И именно тогда в сознании подростка зафиксировался его главный, самый страшный патологический вывод: *небо пустое*.

Нет никакого высшего суда. Нет никакой справедливости. Нет никакой защиты для невинных. Мир — это холодная, темная яма, где сильный безнаказанно уничтожает слабого, а Творец, если Он и существует, безучастно взирает на этот ужас из своей недостижимой высоты.

Но этот вывод не принес ему покоя. Он породил в его душе вечный, ненасытный голод. Психопат не может жить в мире, где он не является центром вселенной. Если Бога нет, значит, Его место вакантно. Значит, он сам, Александр Дворкин, может занять этот пустующий трон.

И он начал доказывать это себе и миру — каждый день, каждую минуту, с каждым новым экспертным заключением, с каждой разрушенной человеческой судьбой.

Павел сел за стол и начал быстро писать, формулируя экзистенциальное ядро профиля своего оппонента:

«Экзистенциальная реконструкция мотивации субъекта.

Истинным двигателем деятельности А. Л. Дворкина является абсолютный, радикальный нигилизм, замаскированный под религиозный фундаментализм. Субъект испытывает глубокую, подсознательную ненависть к самой идее божественного милосердия и любви, поскольку эти понятия предполагают существование силы, превосходящей его собственное эго, и накладывают на него моральные ограничения.

Каждая разрушенная им жизнь, каждая уничтоженная община верующих — это его личный, ритуальный спор с Творцом. Он выбирает в качестве мишеней людей искренней веры, тех, кто уповает на божественную защиту и любовь. Уничтожая их судьбы, доводя их до отчаяния, социальной смерти или самоубийства, субъект раз за разом бросает вызов молчащему небу:

“Смотрите, они так верили в Тебя, они молились Тебе, они были невинны. И где же Твоя рука? Почему Ты не спасаешь их от меня?”

Когда небо в очередной раз остается безмолвным, субъект испытывает пиковое, почти оргазмическое переживание своего абсолютного всемогущества и безнаказанности. Он доказывает себе, что он сильнее Бога, потому что его злая воля действует здесь и сейчас, а божественная справедливость бездействует. Он превратил Русскую православную церковь и государственную экспертную систему в гигантский театр одного актера, где он раз за разом разыгрывает мистерию торжества зла над невинностью, заставляя миллионы людей становиться соучастниками этого богоборчества».

Павел остановился. Он перечитал написанное. Теперь он видел своего врага без маски. Перед ним стоял не грозный государственный чиновник, не авторитетный профессор и не ревностный защитник православия. Перед ним стоял глубоко несчастный, смертельно испуганный ребенок, Сашка Дворкин, который когда-то заглянул в бездну пустого неба, сошел от этого ужаса с ума и теперь пытается заполнить эту пустоту телами своих жертв.

Он уничтожает Илью не потому, что Илья совершил какое-то преступление. Илья для него — идеальная мишень. Чистый, честный парень, верящий в науку, в истину, в то, что мир устроен разумно и справедливо. Илья — это живое опровержение нигилизма Дворкина. И именно поэтому Дворкин должен его уничтожить. Он должен доказать Илье, Павлу и всем вокруг, что их вера в справедливость — это глупая, детская иллюзия. Что никто не придет на помощь. Что небо — пустое.

Павел встал, подошел к двери спальни сына и тихо приоткрыл ее. Илья лежал на боку, свернувшись калачиком, поджав колени к груди — в позе эмбриона, в которой человек подсознательно пытается защититься от враждебного внешнего мира. Его лицо в полумраке казалось совсем юным и беззащитным.

Павел почувствовал, как к горлу подступает горячий ком, а глаза наполняются слезами. Но это были не слезы слабости. Это были слезы глубокой, очищающей любви и ярости.

Он вспомнил слова американского коллеги Виктора Фридмана, которые прочитал в материалах его расследования в книге, которую цитировала пожилая учительница на кухне: *«Небо становится пустым не тогда, когда Бог молчит. Оно становится пустым тогда, когда молчим мы».*

— Я не буду молчать, — прошептал Павел, глядя на спящего сына. — Я не оставлю тебя в этой яме.

Он понял, что его профессиональный долг психиатра и его отцовский долг соединились в одну священную миссию. Он должен стать той самой «рукой Бога» на этой земле для своего сына. Он должен показать Илье, что любовь и сострадание сильнее любого, даже самого изощренного и системного зла.

Павел вернулся в свой кабинет. Он выключил компьютер, но не стал убирать со стола книги и блокноты. Он сел в кресло и закрыл глаза. За окном медленно занимался серый московский рассвет, окрашивая облака в блеклые, холодные тона.

Глава 11. Профиль против системы

Снег на Пятницкой улице ложился на гранитные плиты тротуара, мгновенно превращаясь в скользкую прозрачную глазурь. Павел шел быстро, прижимая к боку тяжелый кожаный портфель. В этом портфеле лежали не просто документы — там находился итог его многомесячного труда, детальный психологический профиль системы, которая едва не лишила его сына будущего.

Павел не собирался воевать с государством. Как врач, он знал, что бессмысленно бороться с симптомами, когда организм поражен системным недугом. Нужно было найти ту самую точку, где ложь системы вступает в неразрешимое противоречие с ее собственными формальными правилами. И этой точкой была экспертиза.

Заседание независимой экспертной комиссии проходило в конференц-зале Института государства и права. За длинным столом из темного дерева сидели люди, чьи имена в научном сообществе обладали непререкаемым авторитетом: лингвисты, психологи, социологи, доктора наук. Они собрались здесь по инициативе адвоката Дмитрия Резникова, который сумел убедить коллег в необходимости беспристрастной оценки документа, разрушившего жизнь молодого эколога Ильи.

Павел стоял у трибуны. На экране за его спиной горел первый слайд презентации. На нем были сопоставлены два текста: экспертное заключение против Ильи и фрагменты из книги Александра Дворкина «Сектоведение».

— Уважаемые коллеги, — начал Павел, и его голос, спокойный и ровный, зазвучал в тишине зала. — Перед нами документ, который официально именуется «комплексным экспертным заключением». На его основании мой сын, Илья, фактически подвергся гражданской казни. Но если мы проанализируем этот текст не с точки зрения его грозных выводов, а с точки зрения научной методологии, мы обнаружим поразительные вещи.

Павел переключил слайд. На экране появились таблицы сравнительного анализа.

— Этот текст не имеет никакого отношения к науке. Перед нами классический пример манипулятивного конструирования реальности. Обратите внимание на речевые конструкции. Эксперты, подписавшие заключение против Ильи —

лингвист Вячеслав Курочкин и психолог Марина Сидорова, — используют метод, который в криминалистике и судебной практике давно признан несостоятельным. Это метод «вины по ассоциации». Они берут научную работу студента-эколога о микропластике, находят там термины «глобальный мониторинг» и «международное сотрудничество» и на этом основании делают вывод о «деструктивном влиянии» и «подрыве традиционных ценностей».

Павел сделал паузу, давая слушателям возможность взглядеться в подчеркнутые красным строки на экране.

— Но самое интересное открывается, когда мы проводим сравнительный текстологический анализ. Текст заключения Курочкина и Сидоровой местами буквально, слово в слово, совпадает с материалами других подобных экспертиз, которые создавались в рамках антикультовой сети Александра Дворкина на протяжении последних двадцати лет. В частности, мы видим прямое заимствование целых абзацев из печально известной кемеровской экспертизы 2011 года, фигурировавшей в судебном процессе по делу «Бхагавад-гиты» в Томске.

В зале послышался негромкий гул. Пожилой профессор-лингвист на первом ряду поправил очки и согласно кивнул.

— В том процессе, — продолжил Павел, — эксперты лингвист Михаил Осадчий и психолог Сергей Дранишников представили заключение, которое также совпадало местами буквально до запятой. Это вызвало массу вопросов в суде. Тогда защита предоставила целый ряд рецензий от ведущих ученых страны. Я напому их выводы, поскольку они имеют прямое отношение к нашему сегодняшнему случаю.

Павел открыл папку и зачитал выдержки из документов, которые Резников разыскал в судебных архивах:

«Выводы кемеровского лингвиста не являются обоснованными и объективными вследствие их несоответствия методологии современного лингвистического анализа текста. К такому выводу пришла кандидат филологических наук, доцент Томского государственного педагогического университета Ольга Орлова. Ее мнение поддержали доктор филологических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Дмитрий Добровольский, доктор психологических наук, доцент кафедры общих закономерностей развития психики РГГУ Владимир Спиридонов, а также доктор философских наук, кандидат психологических наук, профессор

кафедры социологии и социальной антропологии Московского государственного университета Андрей Наговицын».

— Эти выдающиеся ученые еще пятнадцать лет назад доказали, — Павел повысил голос, — что методология, используемая структурой Дворкина, является псевдонаучной фальшивкой. Она строится на размытых, ненаучных терминах вроде «манипуляция сознанием» или «деструктивный культ». Эти понятия не имеют юридического содержания. Они созданы исключительно для того, чтобы в нечистоплотных руках становиться инструментом расправы над любым инакомыслием. И сегодня эта же самая фальшивка, скопированная под копирку, была применена против моего сына.

Павел вывел на экран следующий слайд, где были представлены результаты психологического анализа авторов экспертизы — Курочкина и Сидоровой.

— Чтобы понять, почему состоявшиеся ученые идут на подобный подлог, мы должны проанализировать их собственные психологические уязвимости, — произнес Павел. — Это то, что мы с адвокатом Резниковым использовали при подготовке к судебному оспариванию экспертизы.

Павел начал подробно разбирать профили экспертов, показывая, как система использует их личные слабости для достижения нужного результата.

— Вячеслав Курочкин — типичный представитель академической номенклатуры. Его главная уязвимость — панический страх потери статуса и обвинений в плагиате. Он долгие годы строил карьеру на лояльности руководству, у него нет серьезных независимых научных трудов. Когда мы провели анализ его диссертации, мы обнаружили там многочисленные некорректные заимствования. Он понимает, что его авторитет держится на глиняных ногах. И когда ему из министерства спускают задачу написать «правильное» заключение, он делает это не из идеологических соображений, а из страха. Он боится, что в случае отказа его академический обман будет вскрыт.

Павел переключил слайд на профиль второго эксперта.

— Марина Сидорова — психолог с выраженной зависимой структурой личности. Она долгие годы находится под сильным влиянием своего научного руководителя, тесно связанного со структурами РАЦИРС. Для нее авторитет Дворкина и его соратников является непререкаемым. Она искренне верит, что участвует в «спасении общества», но эта вера — результат глубокой

психологической индукции. Она не способна к самостоятельному критическому анализу. Когда мы предъявили ей доказательства того, что ее выводы полностью противоречат базовым принципам научной психологии, она испытала глубочайший когнитивный диссонанс.

Павел закрыл презентацию. В зале повисла тишина.

— Мы не просто критикуем эту экспертизу, — подвел итог Павел. — Мы утверждаем, что она является продуктом профессиональной некомпетентности и должностного подлога. И у нас есть письменные заявления от независимых экспертов РАН, готовых подтвердить это в любом суде.

Председатель комиссии, академик-социолог, медленно поднялся со своего места.

— Спасибо, Павел Петрович. Ваша презентация чрезвычайно убедительна. Мы, как научное сообщество, не имеем права закрывать глаза на то, что под видом науки в судах используется откровенное мракобесие. Комиссия подготовит официальное заключение о полной научной несостоятельности экспертизы Курочкина и Сидоровой. Мы направим этот документ в Министерство юстиции и в руководство университета.

На следующий день Павел и адвокат Резников сидели в кабинете декана экологического факультета Валерия Воробьева. Декан выглядел бледным и растерянным. На его столе лежала пухлая папка с официальным решением независимой экспертной комиссии, подписанным ведущими академиками страны, а также досудебная претензия, составленная Резниковым.

— Валерий Дмитриевич, — мягко начал Резников, откидываясь на спинку кресла. — Ситуация для университета складывается, мягко говоря, неприятная. Вы отчислили перспективного студента, лишили его возможности заниматься научной работой на основании документа, который официально признан научным подлогом. Если это дело дойдет до суда — а оно дойдет, если вы не измените свое решение, — мы устроим из этого процесса публичную демонстрацию профессиональной некомпетентности вашего руководства.

Декан нервно забарабанил пальцами по столу.

— Но вы же понимаете, Дмитрий Николаевич... На нас давили сверху. Из министерства звонили. Говорили, что у парня сомнительные связи, шведский грант...

— Этот грант был официально зарегистрирован в бухгалтерии вашего же университета, — жестко прервал его Резников. — Вы сами его одобрили. А теперь вы пытаетесь выставить это как «экстремистскую деятельность»? Вы понимаете, что когда мы опубликуем рецензии академиков Добровольского и Спиридонова, репутация вашего факультета будет уничтожена? Ни один приличный научный фонд больше не даст вам ни копейки. Ваши профессора станут нерукопожатными в международном сообществе.

Воробьев перевел взгляд на Павла. В глазах декана читалась мольба.

— Павел Петрович, ну мы же с вами коллеги... Зачем доводить до крайностей? Мы ведь просто хотели обезопасить университет. Сейчас такое время...

— Валерий Дмитриевич, — тихо, но твердо произнес Павел. — Мой сын Илья последние три месяца жил в аду. Его лишили друзей, учебы, будущего. Его довели до тяжелейшего психологического кризиса. И все это сделали вы — люди, которые должны были защищать его и направлять в науке. Вы предали своего студента из-за трусости перед телефонным звонком от одиозного активиста.

Декан опустил голову. В кабинете повисла тяжелая, душная пауза. Было слышно, как за окном шумит Садовое кольцо.

— Что вы хотите? — тихо спросил Воробьев.

— Полное аннулирование решения об отчислении, — четко сформулировал Резников. — Восстановление Ильи на бюджете, возвращение его на должность лаборанта в исследовательском проекте по микропластику. И официальное письмо от университета в банк с подтверждением того, что его научная деятельность носит исключительно академический характер и не имеет отношения к каким-либо деструктивным организациям. Это позволит разблокировать его счета.

Декан тяжело вздохнул, открыл ящик стола и достал чистый бланк приказа.

— Хорошо, — прошептал он. — Я подготовлю приказ о восстановлении сегодня же. Но у меня к вам просьба... Пусть это останется между нами. Не нужно прессы.

— Это зависит от того, насколько быстро Илья вернется к нормальной жизни, — отрезал Павел.

Когда Павел вернулся домой, в квартире было непривычно светло. Февральское солнце, пробившись сквозь серые тучи, заливало гостиную мягким, золотистым светом.

Илья сидел за кухонным столом. Перед ним стоял микроскоп, а рядом лежали чашки Петри с пробами воды из подмосковных озер. Он впервые за последние месяцы не лежал в темноте своей комнаты, а занимался делом. Его лицо все еще было бледным и осунувшимся, но в глазах уже не было того парализующего, тупого страха, который так пугал Павла.

— Папа, — Илья поднял голову, и на его губах появилась слабая, робкая улыбка. — Мне звонили из деканата. Сказали, что произошла ошибка. Что приказ об отчислении аннулирован и я могу возвращаться в лабораторию с понедельника. Это правда?

Павел подошел к сыну, положил руки ему на плечи и крепко сжал их.

— Да, сынок. Это правда.

Илья молчал несколько секунд, словно пытаясь осознать эти слова. Затем он медленно выдохнул, и его плечи, бывшие напряженными все эти месяцы, наконец опустились.

— Спасибо тебе, папа, — тихо произнес он. — Я думал... я думал, что никто не сможет их остановить.

— Никто не может быть сильнее правды, Илья, — Павел потрепал сына по волосам. — Главное — никогда не верить им, когда они пытаются убедить тебя в твоём бессилии. Это их главное оружие. Они сильны только тогда, когда мы соглашаемся играть роль их жертв.

Илья повернулся к микроскопу и аккуратно настроил фокус на предметном стекле. Это был его первый, маленький шаг к психологическому восстановлению. Он возвращался в свой мир — мир реальной науки, чистых фактов и верифицируемых данных, туда, где не было места ядовитым фантазиям инквизиторов.

Позже, когда Илья ушел спать, Павел сидел в своем кабинете. Настольная лампа освещала его рабочий стол, заваленный папками с материалами расследования.

Павел открыл свой блокнот. На первой странице все так же четко выделялись слова: *«Профиль маски»*.

Он проделал колоссальную работу. Он заглянул в самые темные, потаенные уголки сознания человека, который превратил преследование инакомыслящих в

государственную индустрию. Он понял его детские травмы, его латентный садизм, его комплекс бога и его глубокий, экзистенциальный страх перед пустым небом.

Профиль был составлен. Механика лжи была вскрыта и задокументирована. И этот прецедент с Ильей показал, что система пасует перед лицом честной, бескомпромиссной науки и твердой юридической защиты. Как только с маски срывается респектабельный фасад, под ним обнаруживается обычная, трусливая патология, не способная противостоять свету истины.

Павел не стал закрывать блокнот. Он оставил его лежать открытым на столе, прямо под лампой. На развороте были четко видны схемы связей, имена экспертов, даты и выводы сравнительного анализа.

Павел подошел к окну и посмотрел вверх. Облака разошлись, и в глубоком, темном ночном небе ярко горели далекие, холодные звезды. Небо не было пустым. Оно было наполнено тихим, вечным светом, который никакая земная ложь не в силах была погасить.